

# ВЛАС ДОРОШЕВИЧ

КАТОРГА

# Влас Михайлович Дорошевич

## Каторга

### Серия «Россия державная»

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=28730974](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28730974)  
Каторга: Мир Книги Рунет; М.; 2011  
ISBN 978-5-501-00080-3*

#### Аннотация

Влас Михайлович Дорошевич (1865–1922) – выдающийся журналист, публицист, писатель, блестящий театральный критик, «король фельетонов». Учился в нескольких московских гимназиях, откуда неоднократно исключался; гимназический курс завершил экстерном. Был репортером «Московского листка», «Петербургской газеты», писал юмористические заметки в «Будильнике». Известность его началась в 1890-х годах, со времен работы в знаменитом «Одесском листке». С 1902 по 1917 годы редактировал газету И. Д. Сытина «Русское слово». В этот период издание стало самым читаемым и многотиражным в Российской империи. Книгу «Каторга», представленную в этом томе, Дорошевич написал в 1903 году после своего путешествия на Сахалин – самый отдаленный остров Российской империи, освоенный беглыми людьми, каторжниками и поселенцами. Писатель сумел воссоздать вполне реалистическую картину трагедий и ужасов Сахалина: его тюрем, палачей, преступников

всех мастей – убийц, людоедов, воров, авантюристов. Книга эта имела большой успех, не раз переиздавалась, в том числе и за рубежом.

# Содержание

Татарский пролив. – Климат. – Природа. –	7
Северный, Средний и Южный Сахалин. –	
Сахалинская дорога. – Остров-тюрьма	
Первые впечатления	18
Лазарет	24
Каторжное кладбище	39
Тюрьма	45
Наряд	46
Тюрьма ночью	54
Раскомандировка	58
Тюрьма кандалная	63
Вольная тюрьма	70
Мастерские	73
Околоток	77
Женская тюрьма	80
Карцеры	82
«Исправился»	87
Два одессита	90
Убийцы	101
Гребенюк и его хозяйство	107
Паклин	115
Поселенцы	125
Сожительница[10]	129

Сожитель	134
Конец ознакомительного фрагмента.	136

# **Влас Дорошевич**

## **Каторга**

© ЗАО «Мир Книги Ритейл», 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

\* \* \*

# **Татарский пролив. – Климат. – Природа. – Северный, Средний и Южный Сахалин. – Сахалинская дорога. – Остров-тюрьма**

Это было 16 апреля.

Дул порывистый, холодный, пронизывающий норд-вест, пароход кидало с бока на бок.

Я стоял на верхней палубе и всматривался в открывающиеся суровые, негостеприимные, скалистые, покрытые еще снегом берега.

Первое впечатление было безотрадное, тяжелое, гнетущее.

Словно какое-то чудовище, с покрытой буграми спиной, вытянулось, замерло и выжидает добычи.

– Вон место, где погибла «Кострома», – указывает мне капитан.

Я спускаюсь на нижнюю палубу.

Около иллюминаторов на палубе сменяются лица арестантов.

Смотрят, вглядываются в берега острова, где придется кончать свой век.

Замечания краткие, мрачные:

– Сакалин!

– Зима еще!

– Дай поглядеть!

– Не на что и глядеть. Все под снегом.

Качка усиливается. Мы идем Лаперузовым проливом.

Налево – Крильонский маяк. Направо – кипят и пенятся валуны, покрывая «Камень Опасности». Впереди надвигается полоса льда. Льдины застилают весь горизонт.

Право, это звучит горькой насмешкой.

Провезти людей чуть не кругом света. Показать им мельком уголок земного рая – пышный, цветущий Цейлон, дать взглянуть одним глазом на Сингапур, этот роскошный, этот дивный, этот сказочный сад, что разросся в полутора градусах от экватора, дать полюбоваться на чудные, живописные берега Японии, при входе в Нагасаки, – на берега, от которых глаз не оторвешь, для того чтобы привезти после всего этого к скалистым, суровым берегам, покрытым снегами в половине апреля, в эту страну пурги, штормов, туманов, льдин, вьюг и сказать:

– Живите!

Сахалин...

– «Кругом – вода, а в середине – беда!», «Кругом – море, а в середине – горе!» – как зовут его каторжные.

Остров отчаяния. Остров бесправия. Мертвый остров! – как называют его служащие на Сахалине.

Остров – тюрьма.



Если вы взглянете на карту Азии, то увидите в правом уголке вытянувшееся вдоль берега, действительно что-то похожее на чудовище, раскрывшее пасть и словно готовое проглотить лежащий напротив Мацмай.

И крутые паденья угольных пластов, и зигзагообразные, ломанные линии обнаженных слоев угольного сланца – все говорит, что здесь происходила когда-то великая революция.

Извивалась спина «чудовища». Гигантскими волнами колебалась земля. Волны шли с северо-востока на юго-запад.

Недаром сахалинские горы похожи действительно на огромные застывшие волны, а долины, или пади, как их здесь называют по-сибирски, напоминают собою пропасти, что разверзаются между волнами во время урагана.

Ураган кончен. Чудовище стихло и лишь по временам слегка вздрагивает – то там, то здесь.

Это – остров-нелюдим.

Он отделен от земли Татарским проливом, самым вспыльчивым, самым буйным, своенравным, злобным проливом в мире.

Проливом, где зимой зги не видно в снежной пурге, а летом штормы сменяются густыми туманами, настолько густыми, что среди этой белой пелены еле мерещится верхушка мачты собственного парохода.

Идя этим проливом, штурманскому офицеру приходится спать урывками, по четверти часа, не раздеваясь.

Здесь штиль сменяется свирепым штормом в пять, десять

минут.

Полный штиль, – вдруг засвистело в снастях, – поднимай, а то и руби якоря и уходи в море, если не хочешь быть вдребезги разбитым о камни.

Здесь море – предатель, а берег – не друг, а враг моряка. Здесь надо бояться и моря и земли.

Сахалин не любит, чтобы останавливались у его крутых, обрывистых, скалистых берегов. На всем западном побережье ни одного рейда. Дно – гладкая и ровная плита, на которой вас не удержит в шторм ни один якорь.

И сколько пароходов пошло ко дну, похоронено в этом проливе!

Сахалин – суровый и холодный остров.

Его скалистый берег лижет холодное северное течение, в незапамятные времена прорвавшееся Татарским проливом.

Здесь суровая, лютая зима. Здесь неделями продолжается пурга, крутит огромные снежные смерчи, по крышу засыпает дома.

Здесь безрадостная весна похожа на осень.

Короткое, холодное, туманное лето.

И только осень еще похожа на что-нибудь.

20 мая я приехал в Онор – дальнее поселье в самом центре острова, – а 21-го, проснувшись утром, увидел ясное, свежее, прекрасное зимнее утро.

За ночь выпал снег. Снежная пелена в пол-аршина покрывала все – крыши и землю, тюрьму и поселье. Снег прoder-

жался два дня и сошел только 23 мая. Вот то, что называется на Сахалине «климатом».

Извилистая спина «чудовища», словно дыбом вставшими иглами, покрыта густой хвойной тайгой.

Высокий, обрывистый, отвесный, неприступный берег, по которому зигзагами идут желтые пласты глины, дымчатые – угольного сланца, белые – песчаника. Кое-где проступает ржавчина железной руды.

А наверху – тайга.

Ели и сосны, оголенные, совсем лишенные ветвей с наветренной стороны. Они растут в одну сторону. Вершины сосен вытянулись по ветру, словно дым от паровой трубы. Слово эти великаны-деревья, вытянув руки, бегут от этого ужасного берега, от этого сурового, холодного, жестокого моря и ветра.

Заберемтесь вглубь.

Мертвая тишина. Только валежник хрустит под ногами. Остановишься – и ни звука. Ни птичьей песни, ни писка...

Жутко становится, как в пустой церкви.

Молчанье сахалинской тайги – это тишина заброшенного, оставленного храма, под сводами которого никогда не раздается шепота молитвы.

Глубже в эту страну вечного молчания.

Вот уж и света не видно. Тьма кругом.

Словно огромный баобаб стоит на своих десятках стволов.

Это ветер сбил вершины сосен в одну огромную шапку, сколотил их ветви и иглы. Образовалась плотная крыша, по которой, кажется, можно ходить!

Здесь давит. Здесь тяжело.

Здесь тяжело даже деревьям. Здесь больны даже эти гиганты. Их стволы искривлены огромными болезненными наплывами.

Вот вам картина природы Северного Сахалина.

30 лет тому назад здесь бродили медведи да гиляки – жалкие, несчастные дикари, вряд ли в умственном и нравственном отношении стоящие многим выше своих товарищей по тайге.

Недаром же гиляки верят, что у медведя такая же точно душа, как у гиляка, что душа медведя точно так же идет после смерти к «хозяину», богу тайги, жалуется ему на гиляков, и хозяин судит их как равных. Что медведь даже «женат на гилячке»! До того эти жалкие дикари ставят знаки духовного равенства между собой и медведями.

Теперь в этой стране медведей и гиляков кое-где разбросаны поселья.

Жалкие, типичные сахалинские поселья.

Дома для «правов», построенные только для того, чтобы иметь право получить крестьянство, брошенные, разоренные, полуразрушившиеся.

И здесь ни звука. То же вечное молчание.

– Да есть ли живой человек?

В двух-трех домах еще живут. Остальные – пустые.

– Ну, что? Как живете?

– Какая уж жизнь? Маемся.

– Садите, сеете что?

– Что здесь растет! Одна картошка, да и то с грехом пополам.

Живут молча, угрюмо, каждый уйдя, замкнувшись в себя, тоскливо выжидая, когда кончится срок поселения, можно будет получить крестьянство и уйти «на материк».

Дальше, дальше от этой безотрадной стороны.

Тараторят, заливаются, стонут звонки под дугой.

Тройка низкорослых, приземистых, коренастых, крепких, выносливых, быстрых сахалинских лошадей с горки на горку, из пади в падь, несет нас вдоль острова к югу.

– Вот здесь застрелили Казеева (один из убийц Арцимовичей), – показывает вам ямщик. – Здесь в пургу занесло снегом женщину с ребенком... Сюда я намерен возил доктора – поселенца с дерева снимали... Повесился... Здесь в прошлом году зарезали поселенца Лаврова...

Обычная сахалинская дорога.

Картина природы меняется.

Безотрадная северная сахалинская сосна и ель уступают место веселой, приветливой лиственнице, начинающей уже покрываться своей мягкой, нежною, пахучею хвоей. Кое-где попадется невысокий кедр.

Забелели местами березовые рощицы. Березы еще не со-

бираются распускаться, но их беленькие стволы так весело, нарядно, чистенько выглядят после суровой темно-зеленой одежды хвойного леса.

Ива, гибкая и плакучая, наклонилась над речкой, словно хочет рассмотреть что-то в ее быстрых струях.

По оврагам еще лежит снег, а по холмам, где пригревает солнышко, уж пышно распустился лопух.

И горы пошли более пологие, и пади шире.

Это уже не ущелья, не огромные трещины среди гор, а равнины, от которых веет простором.

И поселенья встречаются все крупнее и крупнее. Величиной в хорошее торговое село.

И чаще на вопрос: «Ну, как живете?» – слышится ответ: – Живем кое-как. Лето только больно коротенько.

По пути попадают волы, запряженные в плуг.

В каждом селенье найдете двоих, троих, а то и больше зажиточных хозяев.

Это Тымовский округ, картина Среднего Сахалина.

Дальше начинается тундра – «трунда», как ее зовут сахалинцы.

Колеса вязнут, еле ворочаются в торфяной массе.

Ямщик слез и идет рядом, чтобы легче было лошадям.

Двигаемся еле-еле. От лошадей валит пар.

Пахнет вереском. От его удушливого, тяжелого запаха, похожего на запах кипариса, начинает болеть голова.

Вся тундра сплошь покрыта его красными кустиками.

Словно кровь запеклась.

Тундра и тайга. И снова ни звука. Только дятел простучит да кукушка прокукует вдали.

Тоска, ноющая, щемящая, забирается в душу. Чем-то безотрадным веет кругом.

И не верится даже, что где-то на свете есть Италия, голубое небо, горячее солнце, что есть на свете и песня и смех... И все, что приходилось видеть раньше, – все это кажется таким далеким, словно происходило где-то на другой планете, – кажется сном, невероятным, несбыточным.

Океан тундры и тайги. И в этом океане, как крошечные островки, – кусочки твердой земли. На этих островках прилепились было поселья. Люди попробовали жить, побороться, – не смогли и ушли.

Унылые, брошенные поселья. Так до Онора.

А дальше уж совсем идет топь, трясина, по которой еще проезжают на собаках зимой и нет возможности пробраться летом...

За этой полосой начинается Корсаковский округ – Южный Сахалин.

Разнообразие лиственных древесных пород. Климат сравнительно мягче.

Здесь все же легче дышится, живется.

Если вы взглянете на подобную карту, весь юг Сахалина испещрен черными точками – все поселья. Здесь все-таки можно стать ногой на твердую почву.

Здесь труд тяжелый немножко окупается.

Здесь уж ранняя весна.

Тянутся вереницами на север красавцы-лебеди.

Белая полоса тянется по морю версты на две от берега, словно молочная река, – идет, трется в водорослях и мечет икру сельдь.

Птицы свистят и перекликаются в тайге.

Здесь все-таки жизнь, все-таки солнце, все-таки свет.

Вот вам картины Сахалина.

Здесь воздух напоен тяжелыми вздохами. Здесь в ночном крике птицы чудится стон. Здесь много пролито крови этими несчастными, которые режут друг друга из-за грошей.

Здесь что ни уголок – то страшное воспоминание.

Здесь все дышит страданьем. Здесь много было преступленья и труда.

Здесь все нужно взять с боя. Сахалинская почва ничего не родит, если на нее не капнут пот и слезы.

В глубине Сахалина таится много богатств. Могучие пласты каменного угля. Есть нефть. Должно быть железо. Говорят, есть и золото.

Но Сахалин ревниво бережет свои богатства, крепко зажал их и держит.

Он прекратит ваш путь непроходимой тайгой, он утопит вас в трясине своих тундр. Железом и огнем приходится здесь пробивать себе путь человеку, потом, кровью и слезами сдабривать почву, половину жизни отдавать на то, чтоб



другую половину прожить хоть чуть-чуть сносно.

Вот что такое этот остров-тюрьма.

Природа создала его в минуту злобы, когда ей захотелось создать именно тюрьму, а не что-нибудь другое.

Трудно представить себе лучшие тюремные стены, чем Татарский и Лаперузов проливы.

Правда, бегают и через тот, и через другой. Но разве есть на свете такая тюремная стена, через которую не перешагнул бы человек, ставящий волю выше жизни!

Однако природа была слишком жестока, создавая этот остров-тюрьму.

Идти в ясную погоду по берегу постылого острова и ясно видеть через пролив противоположный берег, который дразнит и манит, уходя вдаль своими голубоватыми очертаниями!

Сознавать, что это так близко и так недостижимо.

Какую муку создала сама природа!

# Первые впечатления

Первое впечатление всегда самое сильное.

И, конечно, я никогда не забуду минуты, когда я ранним утром на зыбком, с бока на бок переваливающемся паровом катере подъезжал к пристани Корсаковского поста.

На берегу копошились люди.

Еще несколько шагов – и я погружаюсь в это море, которое мне так страстно, так мучительно хочется знать.

Море чего?

Странное дело, от двух впечатлений я никак не мог отделаться в течение трех с половиной месяцев, которые я провел среди тюремной обстановки. Два впечатления давили, гнули, свинцом лежали на душе. Давят и гнетут еще и теперь.

Одно из них касается собственно самого пути до Сахалина.

Я никак не мог отделаться от этого сравнения. Наш пароход, везший каторжников из Одессы, казался мне огромной баржей, какие обыкновенно употребляются в приморских городах для вывозки в море отбросов. А эти серевшие на берегу сахалинские посты и поселья казались мне просто-напросто колоссальными местами свалок.

И тяжело становилось на душе при мысли о том, что там, внизу, в трюме, под вашими ногами, что рядом с вами окончательно перегнивает все человеческое, что еще осталось

среди этих «отбросов».

Второе впечатление касается собственно Сахалина.

С первых же шагов, при виде этого унылого, подневольного труда, этого снятия шапок, мне показалось, что я перенесся лет на 50 назад.

Что кругом меня просто-напросто крепостное право.

И чем больше я знакомился с Сахалином, тем это впечатление все глубже и глубже ложилось в мою душу, это первое сравнение казалось мне все вернее и вернее.

Тот же подневольный труд, те же люди, не имеющие никаких прав, унижительные наказания, те же дореформенные порядки, бесконечное «бумажное» производство всяких дел, тот же взгляд на человека как на живой инвентарь, то же распоряжение человеком «по усмотрению», сожительства, заключаемые, как браки при крепостном праве, не по желанию, не по влечению, а по приказу, взгляд многих на каторжного как на крепостного, – все, кончая «декоративной стороной» крепостного права, обязательным ломаньем шапки, – все создавало полную иллюзию «отжитого времени». И как тяжело дышалось, как тяжело, если бы вы знали!

Желание исполнено.

Пройдя пристань, я очутился в толпе каторжных.

На берегу шли работы.

Человек семьдесят каторжников, кто в арестантской, кто в своей одежде, спускали в море баржу для разгрузки парохода.

Пели «Дубинушку», и под ее напев баржа еле-еле, словно нехотя, ползла с берега.

Рядом с ней, на другой барже, стоял запевала, мужичонка в рваной арестантской куртке, всклокоченный, встрепанный, жалкий, несчастный, и надтреснутым, дребезжащим тенорком запевал «Дубинушку», говорившую о необычайной изворотливости, сверхъестественной находчивости его цинизма.

Какой-то цинизм, доходивший не до грани, а до виртуозности.

Все это было, конечно, не то, чтобы вызвать смех. И никто не улыбался.

Слушали равнодушно, даже скорее вовсе не слушали, пели припев, кричали «ух» лениво, нехотя, словно и это тоже была подневольная работа.

Потом я по привычке, но первое впечатление подневольного труда – впечатление тяжелое, гнетущее.

Рядом вытаскивали невод.

Тащили тяжело, медленно, нехотя.

В вытащенном неводе билась, прыгала, трепетала масса рыбы.

Чего, чего там не было! Колоссальные бычки, которых здесь не едят, продолговатые с белым, словно белилами покрытым брюшком глосы, которых тоже здесь не едят, изви- вающиеся, как змеи, миноги, которых здесь точно так же не едят, и мелкая дрянная рыбешка, которую здесь едят.

Все стояли вокруг невода, а двое или трое отбирали годную рыбу от негодной с таким видом, словно они ворочали камни.

Всю дорогу от пристани до поста, вдоль берега моря, на встречу попадались поселенцы, машинально, как-то механически снимавшие шапки.

Рука уставала отвечать на поклоны, и я был искренне признателен тем «дерзунам», которые не устаивали мою персону этой каторжной чести.

Поселенцы бродили как сонные мухи. Бродили, видимо безо всякой цели, безо всякого дела.

– Так, мол, пароход пришел. Все-таки люди.

Если там, у рабочих, на лицах читалась какая-то тяжесть, то здесь была написана страшная, гнетущая, безысходная скука.

Тоска.

Такое состояние, когда человек решительно не знает, что ему с собой делать, куда девать свою особу, чем ее занять, и провожает глазами все, что мелькнет мимо: муха ли большая пролетит, человек ли пройдет, собака ли пробежит.

Посмотрит вслед, пока можно уследить глазами, и опять на лице тоска.

Песня?..

Дрожки, на которых я еду, поворачивают на главную улицу поста и огибают наскоро сколоченный дощатый балаган (дело происходило на Пасхе).

Рядом пустыня, какие-то ободранные качели.

У входа, вероятно, судя по унылому виду, – антрепренер.

Около – толпа скучающих поселенцев, без улыбки слушающих площадные остроты ломающегося на балконе намазанного, одетого в ситцевый балахон клоуна из ссыльнокаторжных.

Из балагана слышится песня.

Нестройно, дико орет хор песенников.

Зазвенели кандалы. Мимо балагана проходят арестанты кандалной тюрьмы под конвоем...

Мы въезжали на главную улицу поста.

С первого взгляда Корсаковск всегда и на всех производит подкупающее впечатление.

Ничего как будто похожего на каторгу.

Чистенький, маленький городок.

Чистенькие, приветливые чиновничьи домики словно разбежались и со всего разбега двумя рядами стали по высокому пригорку.

Выше всех взбежала тюрьма.

Но тюрьма в Корсаковске не давит.

Она одноэтажная, невысокая и, несмотря на свое «возвышенное» положение, не кидается в глаза, не доминирует, не командует над местностью.

В глубину двух оврагов, по обоим бокам холма, словно свалились лезшие по косогору, да недолезшие туда домики.

Это слободки поселенцев.

В общем, во всем этом нет ничего ни страшного, ни мрачного.

И вы готовы прийти в восторг от «благоустройства», проезжая главной улицей Корсаковска, готовы улыбнуться, сказать:

– Да все это очень, очень, как нельзя более мило...

Но подождите!

Сахалин – это болото, сверху покрытое изумрудной, сверкающей травой.

Кажется, чудный лужок, а ступили – и провалились в глубокую, засасывающую, липкую, холодную трясику.

Не успело с ваших уст сорваться «мило», как из-за угла зазвенели кандалы.

Впрягшись в телегу, ухватившись за оглобли, каторжные везут навоз.

И что за удручающее впечатление производят эти люди, исполняющие лошадиную работу.

Ваш путь идет мимо тюрьмы – из-за решеток глядят темные, грязные окна.

Впереди – лазарет, и как раз против его окон – покойницкая.

# Лазарет

Затем, в Александровске, в Рыковском я видел вполне благоустроенные больницы для каторжан; но что за ужасный уголок, что за «злая яма» дантовского ада – эта больница в Корсаковском посту.

Я знаю все сахалинские тюрьмы. Но самая мрачная из них – Корсаковский лазарет.

Чесоточный, больной заразительной болезнью, которую неприятно называть, и хирургический больной лежат рядом. Около них бродит душевнобольной киргиз Наур-Сали.

Как и у большинства сахалинских душевнобольных, помешательство выражается у него в мании величия.

Это протест духа. Это благодеяние болезни.

Всего лишенные, бесправные, нищие, они воображают себя правителями природы, несметными богачами – в крайнем случае хоть зрителями или надзирателями.

Киргиз Наур-Сали принадлежит к несметным богачам.

У него неисчислимые стада овец и верблюдов. Он получает несметные доходы... Но он окружен врагами.

Тяжелая, угнетающая сахалинская обстановка часто развигивает манию преследования.

Временами Наур-Сали кажется, что на его стада нападают стаи волков, что в степном ковыле подползают хищники. Что стада разбегаются. Что он близок к разорению. Тогда



ужас отражается на перекошенном и беспрестанно дергающемся лице Наур-Сали (он эпилептик и страдает виттовым плясом), он мечется из стороны в сторону, с криком бежит по палатам, залезает под кровати больных, сдергивает с них одеяла – ищет своих овец. И я прошу вас представить положение больного с переломленной, положенной в лубки ногой, когда сумасшедший Наур-Сали с воим сдергивает с него одеяло.

– Почему же их не разместят?

– Да куда же я их дену?! – с отчаянием восклицает молодой симпатичный лазаретный врач господин Кириллов.

В лазарете тесно, в лазарете душно.

За неимением места в палатах больные лежат в коридорах. «Приемный покой» для амбулаторных больных импровизируется каждое утро. В коридоре, около входной двери, ставится ширма, чтобы защитить раздевающихся больных от холода и любопытства беспрестанно входящих и выходящих людей.

– Вообразите себе, как это удобно зимой, в мороз, смотреть больных около входной двери, – говорит доктор.

Да оно и весной недурно.

Вся обстановка Корсаковского лазарета производит угрожающее впечатление. Грубое постельное белье невероятно грязно. Больным приходится разрешать лежать в своем белье.

– На казенные рубахи полагается мыло, но я руку даю на

отсечение, что они его не видят! – с отчаянием клянется доктор.

Вентиляции никакой. Воздух сперт, душен, – прямо мутит, когда войдешь. Я потом дня два не мог отделаться от этого тяжелого запаха, которым пропиталось мое платье при этом посещении.

О какой-нибудь операционной комнате не может быть и помина. Для небольших операций больных носят в военный госпиталь. Для более серьезных – отправляют в пост Александровский, отрезанный от Корсаковского в течение полугода. Представьте себе положение больного, которому необходимо произвести серьезную операцию в ноябре, – первый пароход в Александровск, «Ярославль», пойдет только в конце апреля следующего года!

Когда я был в Корсаковском лазарете, там не было... гигроскопической ваты.

Для перевязки ран варили обыкновенную вату, просушивали ее здесь же, в этом воздухе, переполненном всевозможными микробами и бациллами.

– Все, чем мы можем похвалиться, – это нашей аптекой. Благодаря заботливости и настояниям заведующего медицинской частью, доктора Поддубского, у нас теперь богатый выбор медикаментов! – со вздохом облегчения говорит доктор.

Вернемся, однако, к больным.

Что за картины – картины отчаяния, иллюстрации к дан-

товскому чистилищу.

С потерявших свой первоначальный цвет подушек смотрят на нас желтые, словно восковые, лица чахоточных.

Лихорадочным блеском горящие глаза.

Вот словно какой-то гном, уродливый призрак.

Лицо – череп, обтянутый пожелтевшей кожей. Высохшие, выдававшиеся плечевые кости, ключицы и ребра и невероятно раздутый голый живот. Белье не налезает.

Страшно смотреть.

Несчастный мучается день и ночь, не может лечь – его «заливает». Чахотка в последнем градусе, осложненная водянкой.

И столько муки, столько невыносимого страдания в глазах.

Несчастный – этот тонущий в воде скелет – что-то шепчет при нашем проходе.

– Что ты, милый? – нагибается к нему доктор.

– Поскорей бы! Поскорей бы уж, говорю! Дали бы мне чего, чтобы поскорее! – едва можно разобрать в лепете этого задыхающегося человека.

– Ничего! Что ты! Поправишься! – пробует утешить его доктор.

Еще большая мука отражается на лице больного. Он отрицательно качает головой.

Тяжело вообще видеть приговоренного к смерти человека, а приговоренного к смерти здесь, вдали от родины, от

всего, что дорого и близко, — здесь, где ни одна дружеская рука не закроет глаза, ни один родной поцелуй не запечатлется на лбу, — здесь вдвое, вдесятеро тяжелее видеть все это.

Вот больной, мужчина средних лет, ранняя проседь в волосах. Красивое, умное, интеллигентное лицо.

Чем он болен?

Не надо быть доктором, чтобы сразу определить его болезнь по лихорадочному блеску глаз, по неестественно яркому румянцу, пятнами вспыхивающему на лице, по крупным каплям пота на лбу.

Это ссыльнокаторжный из бродяг, «не помнящий родства», учитель из селения Владимировна.

— Вы и в России были учителем?

— Был и учителем... Чем я только не был! — с тяжелым вздохом говорит он, и печаль разливается по лицу.

Тяжко вспоминать прошлое здесь...

А вот продукт каторжной тюрьмы, специально «сахалинский больной».

Молодой человек, казалось бы, такого здоровенного, крепкого сложения.

У него скоротечная чахотка от истощения.

Перед вами жиган — каторжный тип игрока. Игра — его болезнь, больше чем страсть, единственная стихия, в которой он может дышать.

Его потухшие глаза на все смотрят равнодушным, безразличным взглядом умирающего и загораются лихорадочным

блеском, настоящим огнем только тогда, когда он говорит о игре.

Он проиграл все: свои деньги, казенную одежду. Его наказывали розгами, сажали в карцер – он играл. Он проигрывал самого себя, проигрывал свой труд и нес двойную каторгу, работая и за себя, и за того, кому он проиграл.

Он месяцами сидел голодный, проиграв свой паек хлеба чуть не за год вперед, и питался «в одну ручку» – жидкой похлебкой – баландой без хлеба.

Его били жестоко, неистово; чтобы играть, он воровал все что ни попадало.

В конце концов он нажил истощение, скоротечную чахотку.

Он и тут, в лазарете, играл с больными, проигрывая свою порцию, но его скоро «накрыли» и игру прекратили. Он проигрывал даже свои лекарства.

Сахалинским больным все кажется, что им жалеют лекарства и дают слишком мало. Они охотно покупают лекарства друг у друга.

А вокруг этого несчастного такие же больные, умирающие, которые не прочь у умирающего выиграть последний кусок хлеба.

Вот отголоски зимнего сезона.

Люди, отморожившие себе кто руки, кто ноги, иные на работах в тайге, другие во время бегов.

Они разматывают свое тряпье, – и перед нами засыпанные

иододформом руки, ноги без пальцев, покрытые мокнувшими ранами, покрывающиеся струпьями.

Их стоны, когда приходится ворочаться с боку на бок, смешиваются с бредом, идиотским смехом, руганью умалишенных.

Вот интересный больной, Иоркин, бывший моряк, эпилептик.

Ломброзо непременно снял бы с него фотографию и поместил в свою коллекцию татуированных преступников.

Иоркин татуирован с головы до ног.

На его груди выгравировано огромное распятие. Руки покрыты рисунками якорей и крестов, символами надежды и спасения, текстами Священного Писания.

У Иоркина религиозное помешательство, соединенное, по сахалинскому обыкновению, с бредом величия.

– Мне недолго здесь быть, – говорит он, и глаза его горят экстазом. – Меня ангелы возьмут и унесут.

А вот жертва, лишенная семьи.

Карпов, донской казак, из Новочеркасска. Сегодня он что-то весел, все время улыбается, и с ним можно говорить.

Он говорит охотно только на одну тему – о своей оставленной на родине семье: о братьях, матери, отце, жене. Как они живут, про их хозяйство. Говорит с увлечением, весь сияя от этих воспоминаний. Это самые светлые для него минуты. Обыкновенно же его состояние – состояние тяжелой хандры, задумчивости. Он меланхолик.

Он боится нападения чертей, которые хотят соблазнить его на нехорошее поведение. Он воздержанник и соблюдает себя для семьи, а по ночам ему снятся женщины, которые являются его прельщать. Их посылают черти.

– Тут много чертей! – выкрикивает он своим тоненьким, пронзительным голосом и лезет под кровать посмотреть: нет ли их там.

– Есть! Есть! Вот они!

Начинается припадок.

Берегите ваши карманы. Рядом все время трется Демидов, kleптоман, один из несчастнейших людей на каторге.

Его били смертным боем товарищи, и секло начальство, а он все продолжал оставаться «неисправимым». Ему еще недавно дали 52 лозы, как вдруг, к общему изумлению, доктор Кириллов взял этого «неисправимого негодяя» в лазарет.

– Ах, вон оно что! – ахнули все. – Он сумасшедший! А мы-то его исправляли.

А вот жертва наших больниц, жертва их страсти к «поспешной выписке».

Это бродяга Немой.

– Семен Михайлович! Как поживаешь? – спрашивает доктор.

Семен Михайлович улыбается бессмысленной улыбкой и смотрит куда-то в угол.

– Да он что? Действительно немой?

– Нет, он страдает одной из форм афазии, он не может говорить, не в состоянии отвечать на вопросы.

И только улыбается своей бессмысленной, беспомощной, жалкой, страдальческой улыбкой.

В одну из минут просветления, когда к нему ненадолго вернулась способность речи, он рассказал доктору свою историю.

Он не бродяга. Он крестьянин Новгородской губернии Семен Михайлов Глухаренков. У него на родине есть семья. Жил он в Петербурге на заработках, заболел тифозной горячкой, лежал в больнице. Из больницы его выписали слишком рано, чересчур слабым. Денег не было ни гроша, паспорт был отослан на родину «менять», приходилось идти пешком. Едва выйдя за заставу, он «потерял сознание», а затем с ним «это и случилось». Его держали в полиции, судили, – на все вопросы он молчал. И пошел на полтора года в каторгу, а затем на поселение на Сахалине как «бродяга Немой».

Вот та маленькая повесть, которую успел рассказать Семен Глухаренков доктору в минуту просветления, – и снова на его лице заиграла тихая, скорбная улыбка.

Над всем этим – над трагическим молчанием «бродяги Немого», над тихими стонами, вырывающимися из глубины души, над тяжкими вздохами, перебранкой больных, над рассказами жигана об игре, над звуками удушливого кашля чахоточных, – звуками, в которых вы слышите, как у людей на куски разрываются легкие, над бредом и идиотским сме-



хом помешанных, — над всем этим царит вечный, непрестанный крик сумасшедшего старого солдата.

В Корсаковском лазарете нет места, где бы до вас не доходил этот ужасный, все нервы выматывающий крик.

Он отравляет последние минуты умирающих в маленькой отдельной каморке.

Зайдем туда.

На постели лежит человек... тень, призрак человека... Не бледное, а белое, словно молоком вымазанное лицо.

Дыхание с хрипом и свистом вырывается из груди.

Он задыхается.

Доктор, дававший мне объяснения по поводу каждого больного, тут сказал только:

— Сами видите!

— Доктор... доктор... — еле переводя дух, говорит больной, и в самом тоне его просьбы звучит что-то детское, беспомощное, жалкое, хватающее за душу, — доктор... выпиши ты, ради Господа Бога, мяты... С мяты я поправлюсь.

— Хорошо, хорошо, голубчик! Выпишу тебе мяты, — успокаивает его доктор.

— То-то!.. С мяты... я... живо...

К вечеру он умер.

Из каморки умирающего мы проходим узеньким коридорчиком к сумасшедшему солдату.

В коридорчике при нашем проходе звенят кандалы.

Со скамьи встают двое кандалных.

– Что такое? Больные?

– Никак нет. Для освидетельствования на предмет телесного наказания! – рапортует надзиратель.

В маленькой «изоляционной» комнатке доживают свой век двое.

Старый каторжник из солдат, который на вопрос, сколько он в своей жизни получил плетей и розг, отвечает:

– Семьдесят два миллиона, ваше сиятельство!

Он воображает себя то фельдфебелем, то фельдмаршалом, и вся его жизнь отражается в его мрачном помешательстве.

Он только и делает, что приговаривает людей к смерти или к плетям.

– Вот этот, – кричит он, указывая на служителя и вытаскивая изодранную «сумасшедшую рубаху», – связать меня хотел! Повесить его в двадцать четыре часа! А этому смерть отменяется, – шестьдесят тысяч плетей без помощи врача! Живо!

На другой кровати, скорчившись, спит единственное существо, которое не приговаривает ни к смерти ни к плетям, – старый, свирепый солдат, зовут его Чушка.

Слепой, слабоумный старик.

– Чушка, вставай! – кричит солдат и выщипывает у Чушки несколько волосков из бровей.

Чушка взвизгивает, просыпается и открывает свои ничего не видящие глаза.

– Чушка, жрать хочешь?

Но Чушка не отвечает.

Услышав голос доктора, он что-то соображает.

– Доктор, а доктор!

– Что тебе?

– Сделай мне новые глаза.

– Хорошо, сделаю!

– Сделаешь? Ну, ладно.

И Чушка снова засыпает сном слабоумного старика.

– Не хочешь жрать, Чушка? Это она при надзирателе не хочет! Повесить надзирателя сию минуту! Станови виселицу! Палача! Плетей! – вопит старый солдат.

Перейдем в женское отделение.

Тут несколько чище.

– Все-таки женщины! – объясняет акушерка.

Родильницы лежат с двумя идиотками, которые, улыбаясь, говорят о женихах.

Обычный женский бред на Сахалине.

К доктору подходит душевнобольная молоденькая бабенка Ненила, прифранченная, нарядно одетая.

– Доктор, скоро меня выпишешь-то?

– Тебе зачем?

– Боюсь, как бы надзиратель-то другую не взял.

– А ты что прифрантилась?

– Да к нему идти было собралась!

Ненила смеется.

– Никакого у нее надзирателя нет. Бред! – потихоньку объясняет мне доктор. – Ты вот лучше, Ненилушка, расскажи барину, за что сюда попала! Ему хочется знать.

Лицо Ненилы сразу становится грустным.

– Впутали меня, ох, впутали! Все он впутал, изверг, чтоб вместе шла! Впутал, а потом где он, ищи его! И должна я одна быть...

Ненила начинает плакать.

– Да ты не плачь. Расскажи, как было?

– Как было-то, обыкновенно было! Купец-то сидел, вот так-то. Пьяный купец-то. Борода-то на столе! – Ненила смеется. – Я-то около купца, все ему подливаю: «Пей, мол, такой-сякой, немазанный!» А он-то сзади подкрадывается... Подкрался к купцу, – пьяный, препьяный купец! Я его за руки поймала, держу. А он его за бороду хватить – назад оттянул, – да по горлу как чирк! Ай!

Ненила вскрикивает. Быть может, в эту-то страшную минуту и «потеряла равновесие» ее психика.

– Кровь-то в стенку, в меня полилась, полилась... Корчился купец-то, жалостно так... Жалостно...

Ненила начинает хныкать, утирать рукавом слезы – и вдруг разражается смехом.

– Чего ж я реву-то, дура? Вот дура, так дура! И самой смешно. Реву, девоньки, и сама не знаю о чем! Доктор, пустите меня к надзирателю.

– Дай ты мне капелек-те, от зубов-те! – подходит к нам другая душевнобольная.

Несчастливая, сосланная в каторгу за мужеубийство. Она потеряла психическое равновесие в первую брачную ночь.

– С женщинами это бывает... Рано замуж отдали... Может быть, муж спяна обошелся очень уж грубо, – поясняет доктор.

– Спортили нас-те! – жалобно рассказывает она. – Взяли-те да в постелю кровящи-те налили. Я как увидала-те, он мне и отошнел... Отошнел-те, я его и зарезала.

Во всей ее позе что-то страдальческое, угнетенное.

У нее, в сущности, не болит ничего. Но все-таки остаток сознания требует отчета, почему она в таком угнетенном состоянии. И несчастная сама выдумывает причины: то жалуется на зубную боль, то через пять минут начинает жаловаться на боль в пояснице.

– Третий день-те разогнуться не могу! Болит-те!

– А зубы?

– Зубы ничего-те. Поясница вот!

– Видите, при каких условиях приходится работать, – со вздохом говорит доктор.

Я не думаю, чтобы доктора Кириллова надолго хватило на борьбу с разными сахалинскими, истинно каторжными условиями.

Очень уж у него в несколько месяцев расхотелись нервы. Сколько народу бежало отсюда, народу, приходившего

сюда с горячим желанием принести посильную помощь страдающим!

И это будет очень жаль.

Такие люди, люди знания, люди дела, люди просвещенные, люди гуманные, люди честные, с чуткой, доброй, отзывчивой душой, – такие-то люди и нужны Сахалину.

Людей плохих много и в пароходном трюме каждый год присылают.

# Каторжное кладбище

От Корсаковского лазарета недалеко до кладбища.

Проедем к маяку.

Кладбище расположено на горе около Корсаковского маяка.

– Нет уж, ваше высокое благородие, видать, мне к маяку пора! – говорил один тяжкий больной утешавшему его доктору.

Что эта за странная процессия взбирается по косогору?

Десяток каторжных, уцепившись за оглобли, подталкивая сзади, тащат телегу, на которой лежат большой, белый, неуклюжий, некрашенный гроб и лопата.

Сзади со скучающим видом идет посланный смотреть за каторжниками надзиратель, с револьвером на шнурке.

Вот и вся похоронная процессия.

– Ну! Ну! Наддай! – покрикивают каторжные.

Вот и все похоронное пение.

Что-то щемящее, что-то хватающее за душу есть в этой картине сахалинских похорон... Эта телега, этот надзиратель, эти серые куртки...

Единственное лицо, которое могло бы проводить покончившего свои дни несчастного в место последнего упокоения, – тоже лежит в могиле.

Хоронят поселенца.

Из ревности он зарезал сожительницу и сам убежал из дома и отравился борцом. Его труп уж через несколько дней нашли в тайге.

Борец – ядовитое растение, растущее в Корсаковском округе, на юге Сахалина. Корень борца там имеется «на всякий случай» у каждого каторжного, у каждого поселенца. Мне показывали этот корень многие.

– Да на кой вам шут держать эту дрянь?

– Такое уж заведение... На всякий случай... Может, и понадобится! – отвечали поселенцы с улыбкой, какой не дай бог, чтобы улыбался человек.

Сойдем, проводим.

Телега медленно вползла на гору.

Ее подвезли к первой выкопанной могиле. На веревках опустили гроб. Достали с телеги лопаты, поплевали на руки, – и застучала земля по гробовой крышке.

Застучала сильно: здесь почва глинисто-каменистая. Не земля, а словно какой-то щебень, битый кирпич навален около вырытых могил.

Глуше и глуше шумит земля... Маленький холмик вырос над могилой. В него воткнули наскоро сколоченный из двух планок некрашенный крест без надписи.

Кто перекрестился, а кто и нет, – и взялись за телегу.

– Теперича ходчее пойдем!

Пошли бегом и скрылись за спуском.

– Тише, черти! – доносится отчаянный голос запыхавше-



гося надзирателя.

– Легче! Легче!... – слышится под горой.

Мы среди безыменных могил.

– Что это? Неужели в лазарете так много покойников, – с изумлением смотрю я на массу вырытых ям.

– Никак нет! – снимая шапку, отвечает кучер-каторжный.

– Да надень ты шапку, бога ради! На кладбище все равны.

– Никак нет, ваше высокоблагородие. Это про запас ямы приготовлены. Делать-то было нечего, пароходы не приходили, – вот и посылали ямы копать. А то горячка пойдет, люди на работы нужны будут – не до ямы!

Что за унылая картина!

Маленькие холмики, на которых торчат только какие-то палки вместо крестов. Почти ни на одной могиле цельного креста. А на большинстве и совсем ничего нет.

– Кто это?

Поселенцы на подтопку таскают. Кому же больше? В тайгу-то идти лень. Вот отсюда и тащат.

Вот могила, – хоронила все-таки, должно быть, заботливая, может быть, родная рука. В крест был вделан образ.

Крест уцелел, а образ выломан.

И молится теперь перед этим выломанным из могильного креста образом какой-нибудь поселенец в грязной, темной, пустой избушке.

– Может, кто выломал да в карты спустил. Копейках в двух образок пошел! – словно угадывая ваши мысли, гово-

рит кучер.

И над всеми этими маленькими, безвестными, безыменными могильными холмами царит, возвышается за высокой оградой массивный чугунный крест над высокой, камнем обделанной могилой купца Тимофеева.

– Зарезали его! – поясняет кучер.

– За что зарезали?

– За деньги.

И подумав, объясняет более пространно:

– Деньги у него, сказывают, были. За это самое и зарезали.

Здесь это недолго...

Уйти бы поскорей с этого безотраднейшего и во всем мире и даже на Сахалине кладбища.

Но тут должна быть одна «святая могила».

Могила Наумовой, молодой девушки, учительницы, основательницы Корсаковского приюта для детей ссыльнокаторжных.

Она училась в Петербурге, бросила все и приехала сюда, увлеченная святой мыслью, горя великим святым желанием отдать жизнь на служение, на помощь этим бедным, несчастным, судьбою заброшенным сюда детям преступных отцов.

У нее были широкие планы, она мечтала о ремесленных классах для детей, о воскресных школах для каторжных, о чтениях...

Она работала всей душой, энергично, горячо отдаваясь делу. Ей удалось кое-что сделать. Корсаковский приют ей

обязан своим возникновением.

Но слабой ли девушке было бороться с сахалинской черствостью, с сахалинской мертвечиной, с сахалинским равнодушием к страданиям ближнего.

Молодая девушка не вынесла борьбы с господами служащими, враждебно смотревшими на ее «затеи», не вынесла тяжелой атмосферы каторги и застрелилась, оставив две записки.

Одну: «Жить тяжело». В другой просила все ее скудные достатки продать и деньги отдать на ее детище – на приют.

Их прибыло одновременно три – три подруги, увлеченные идеей принести посильную помощь страждущим; одна застрелилась, другая сошла с ума, третья<sup>1</sup>... вышла замуж за бывшего фельдшера, из ссыльных. Так разное и, в сущности, одинаково кончили все три. Да и трудно было устоять в непосильном труде!

Корсаковская «интеллигенция» устроила Наумовой торжественные похороны, хотя сахалинская сплетня, сахалинская клевета, уж никак не могущая понять, что можно жизнь свою отдавать какой-то каторге, даже в могиле не пощадила покойной страдальцы.

Эта могила... Она должна быть здесь... Но где она?

Искал, искал – не нашел.

– Должно быть, там! – говорили мне господа «интелли-

---

<sup>1</sup> У нее мать была сослана в каторгу. – *Здесь и далее примеч. автора.*

генты».

А ведь со смерти Наумовой прошло еле-еле два года!

Приамурский генерал-губернатор прислал на могилу Наумовой чудный металлический венок с прекрасной надписью на медной доске.

Этот венок висит... в полицейском управлении.

Повесить нельзя. Украдут!

Да и где бы они могли его повесить?

Такова «долженствующая быть» святая могила среди неизвестных грешных могил.

# Тюрьма

Тюремный день начинается с вечера, когда производится наряд – распределение рабочих на работы.

Так мы и начнем наш день в тюрьме.

# Наряд

Тюремная канцелярия. Обстановка обыкновенного участка. Темновато и грязно.

Писаря из каторжных скрипят перьями, пишут, переписывают бесконечные на Сахалине бумаги: рапорты, отношения, доношения, записки, выписки, переписи.

При выходе смотрителя тюрьмы все встают и кланяются.

Старший надзиратель подает смотрителю готовое уже распределение на завтра каторжных по работам.

– На разгрузку парохода столько-то. На плотничьи работы столько-то. На таску дров, бревнотасков... В мастерские... Вот что, паря, тут Икс Игрекович Дзет просил ему людей прислать огород перекопать.

– Людей нет, ваше высокоблагородие. Люди все в расходе.

– Ничего. Пошли шесть человек. Показать их на плотничьих работах. Да, еще Альфа Омеговна просила ей двоих прислать. Отказать невозможно. А тут этот контроль теперь во все суется: покажи ему учет людей. Просто хоть разорвись! Ну да ладно, пошли ей двоих, из тех, что на разгрузку назначены...

Наряд кончен.

Начинается прием надзирателей.

– Тебе что?

– Иванов, ваше высокоблагородие, очень грубит. Ты ему

слово, он тебе десять. Ругается, срамит!

– В карцер его. На три дня на хлеб и воду. Тебе?

– Петров опять буянит.

– В карцер! Все?

– Так точно, все-с.

– Зови рабочих.

Входит толпа каторжных, кланяются, останавливаются у двери. Среди них один в кандалах.

– Ты что?

– Подследственный. Приговор, что ли, объявлять звали.

– А! Ступай вон к писарю. Васильев, прочитай ему приговор.

Писарь встает и наскоро читает, бормочет приговор.

– Приамурский областной суд... Принимая во внимание... самовольную отлучку... с продолжением срока... на десять лет! – мелькают слова. – Грамотный?

– Так точно, грамотный!

– Распишись.

Кандальный так же лениво, равнодушно, как и слушал, расписывается в том, что ему прибавили десять лет каторги.

Словно не о нем идет и речь.

– Уходить можно? – угрюмо спрашивает кандальный.

– Можешь. Иди.

– Опять убежит, бестия! – замечает смотритель.

По правилам каторги, «порядочный» каторжник всякий

приговор должен выслушивать спокойно, равнодушно, словно не о нем идет речь. Не показывая ни малейшего волнения. Это считается «хорошим тоном». В случае особенно тяжкого приговора каторга разрешает, пожалуй, выругать суд. Но всякое «жалостливое» слово вызвало бы презрение у каторги. Вот откуда это «равнодушие» к приговорам. В сущности же, эти продления срока за «отлучки» их сильно волнуют и мучат, кажутся им чересчур суровыми и несправедливыми. «За семь дней – да десять лет!» Я сам видал каторжника, только что преспокойно выслушавшего приговор на пятнадцать лет прибавки. Разговаривая вдвоем, без свидетелей, он без слез говорить не мог об этом приговоре: «Погибший я теперь человек! Что ж мне остается теперь делать? Навеки уж теперь». И столько горя слышалось в тоне «канальи», который и «глазом не моргнет», слушая приговор.

– Тут еще приговор есть. Федор Непомнящий кто?

– Я! – отзывается подслеповатый мужичонка.

– Ты хлопотал об открытии родословия?

– Так точно.

– Ну, так слушай.

Писарь опять начинает бормотать приговор.

– Областной суд... заявление Федора Непомнящего... осужденного на четыре года за бродяжество... признать его ссыльнопоселенцем таким-то... принимая во внимание несходство примет... глаза у Федора Непомнящего значатся



голубые, а у ссыльнопоселенца серые... нос большой... постановил отклонить... Слышал, отказано?

– Носом, стало быть, не вышел? – горько улыбается Непомнящий. – Выходит теперь, что и я не я!..

– Грамотный?

– Так точно, грамотный. Только по вечерам писать не могу. Куриная слепота у меня. Меня и сюда-то привели.

– Ну, ладно! Завтра подпишешь! Ступай.

– Стало быть, опять в тюрьму?

– Стало быть!

– Эх господи! – хочет что-то сказать Непомнящий, но удерживается, безнадежно машет рукой и медленно, походкой слепого, идет к толпе каторжных.

Ни на кого ни приговор, ни восклицание не производят никакого впечатления. На каторге «каждому – до себя».

– Вы что? – обращается смотритель к толпе каторжных.

– Срок окончили.

– А! На поселение выходите? Ну, паря, до свиданья. Желаю вам. Смотрите, ведите себя чисто. Не то опять сюда попадете.

– Покорнейше благодарим! – кланяются покончившие свой срок каторжане.

– Опять половина скоро в тюрьму попадет! – успокаивает меня смотритель. – Тебе что?

Толпа разошлась. Перед столом стоит один мужичонка.

– Срок кончил сегодня, ваше высокоблагородие. Да не от-

пушают меня. С топором у меня...

– Топор у него пропал казенный, – объясняет старший надзиратель.

– Пропил, паря?

– Никак нет. Я не пью.

– Не пьет он! – как эхо подтверждает и надзиратель.

– Украла у меня топор-от.

– Кто же украл? Ведь знаешь небось?

Мужичонка чешет в затылке.

– Нешто я могу сказать кто. Сами знаете, ваше высокоблагородие, что за это бывает, кто говорит.

– Ведь вот народец, я вам доложу! – со злостью говорит смотритель. – Воровать друг у друга – воруют, а сказать – не смей! Что ж, брат, не хочешь говорить – и сиди, пока казенный топор не найдется. Большой срок-то у тебя был?

– Десять годов!

– Позвольте доложить, – вступается кто-то из писарей, – деньги тут у него есть заработанные, немного. Вычесть, может, за топор можно.

– Так точно, есть, есть деньги! – как за соломинку утопающий, хватается мужичонка.

На лице радость, надежда.

– Ну, ладно! Так и быть. Зачтите за топор. Освободить его! Ступай, черт с тобой!

– Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие!

И «напутствованный» таким образом мужичонка идет

«вести новую жизнь».

Его место перед столом занимает каторжник в изорванном бушлате, разорванной рубаше, с подбитой физиономией.

– Ваше высокоблагородие! Явите начальническую милость! Не дайте погибнуть! – не говорит, а прямо вопиет он.

– Что с ним такое?

– Опять побили его! – докладывает старший надзиратель.

– Вот не угодно ли? – обращается ко мне смотритель. – Что мне с ним делать – куда ни переведу, везде его бьют. Прямо смертным боем бьют.

– Так точно! – подтверждает и надзиратель. – В карцер, как вы изволили приказать, в общий сажал, будто бы за провинность<sup>2</sup>. Не поверили – и там избили. На работы уж не гоняю. Того и гляди, совсем пришьют.

Человек, заслуживший такую злобу каторги, заподозрен ею в том, что донес, где скрылись двое беглых.

– А полезный человек был! – потихоньку сообщает мне смотритель. – Через него я узнавал все, что делается в тюрьме.

И вот теперь этот «полезный человек» стоял перед нами избитый, беспомощный, отчаявшийся в своей участи.

Каторга его бьет. Те, кому он был полезен, – что они могут

---

<sup>2</sup> Это делается часто; доносчиков, «для отвода глаз», подвергают наказанию, будто он в немилости у смотрителя. Часто доносчики, заподозренные каторгой, просят даже, чтобы их подвергли телесному наказанию, «а то убьют».

поделать с освирепевшей, остервенившейся каторгой?

– Наказывай их, пожалуй! А они еще сильнее его бить начнут. Уходят еще совсем!

– И уходят, ваше высокоблагородие, – тоскливо говорит доносчик, – беспрерывно они меня уходят.

– Да хоть кто бил-то тебя, скажи? Зачинщик-то кто, по крайней мере?

– Помилуйте, ваше высокоблагородие, да разве я смею сказать? Будет! Довольно уж! Да мне тогда одного дня не жить. Совсем убьют.

– Вот видите, вот видите! Какие нравы! Какие порядки! Что ж мне делать с тобой, паря?

– Ваше высокоблагородие! – И несчастный обнаруживает желание кинуться в ноги.

– Не надо, не надо.

– Переведите меня куда ни на есть отсюда. Хоть в тайгу, хоть на Охотский берег пошлите. Нет моей моченьки побои эти неистовые терпеть. Косточки живой нет. Лечь, сесть не могу. Все у меня отбили. Ваше высокоблагородие, руки я на себя наложу!

В голосе его звучит отчаяние и действительно решимость пойти на все, на что угодно.

Смотритель задумывается.

– Ладно! Отправить его завтра во второй участок. Дрова из тайги будешь таскать.

Это одна из самых тяжелых работ, но несчастный рад и

ей, как празднику, как избавленью.

– Покорнейше вас благодарю. Ваше высоко...

– Что еще?

– Дозвольте на эту ночь меня в карцер одиночный посадить! Опять бить будут.

– Посадите! – смеется смотритель.

– Покорнейше благодарю.

Вот человек, вот положение – когда одиночный карцер, пугало каторги, и то кажется раем.

– Все?

– Так точно, все.

– Ну, теперь идемте в тюрьму, на перекличку, молитву, – да и спать! Поздно сегодня люди спать лягут с этой разгрузкой парохода! – глядит смотритель на часы. – Одиннадцать. А завтра в четыре часа утра прошу на раскомандировку.

# Тюрьма ночью

Холодная, темная, безлунная ночь. Только звезды мерцают.

По огромному тюремному двору там и сям бегают огоньки фонариков.

Не видно не зги, но чувствуется присутствие, дыхание толпы.

Мы останавливаемся перед высоким черным силуэтом какого-то здания: это часовня посередине двора.

– Шапки долой! – раздается команда. – К молитве готовься. Начинай.

– «Христос воскрес из мертвых»... – раздается среди темноты.

Поют сотни невидимых людей.

Голоса слышатся в темноте справа, слева, около, где-то там, вдали!..

Словно вся эта тьма запела.

Этот гимн воскресения, песнь торжества победы над смертью, – при такой обстановке! Это производило потрясающее впечатление.

Невидимый хор пропел еще несколько молитв, и началась проверка.

За поздним временем обычной переклички не было, просто считали людей.

Подняв фонарь в уровень лица, надзиратели проходили по рядам и пересчитывали арестантов.

Из темницы на момент выглядывали старые, молодые, мрачные, усталые, свирепые, отталкивающие и обыденные лица – и сейчас же снова исчезали во тьме.

В конце каждого отделения фонарь освещал чисто одетого старосту.

– Семьдесят пять? – спрашивал надзиратель.

– Семьдесят пять! – отвечал староста.

Старший надзиратель подвел итог и доложил смотрителю, что все люди в наличности.

– Ступай спать!

Толпа зашумела. Тьма кругом словно ожила. Послышался топот ног, разговор, вздохи, позевывания.

Усталые за день каторжники торопливо расходились по камерам.

– Кто идет? – окрикнул часовой у кандальной тюрьмы.

– Кто идет? – уже отчаянно завопил он, когда мы подошли ближе.

– Господин смотритель! Что орешь-то!..

Мы прошли под воротами.

Загремел огромный замок, клуб сырого, промозглого пара вырвался из отворяемой двери, – и мы вошли в один из «номеров» кандального отделения.

– Смирно! Встать!

Наше появление словно разбудило дремавшие кандалы.

Кандалы забренчали, залязгали, зазвенели, заговорили своим отвратительным говором.

Чувствовалось тяжело среди этого звона цепей, в полумраке кандалной тюрьмы. Я взглянул на стены. По ним тянулись какие-то широкие тени, полосы. Словно гигантский паук заткал все какой-то огромной паутиной... Словно какие-то огромные летучие мыши прицепились и висели по стенам.

Это ветви ели, развешанные по стенам для освежения воздуха.

Пахло сыростью, плесенью, испариной.

Кандалных проверяли по фамилиям.

Они проходили мимо нас звеня кандалами, а по стене двигались уродливые, огромные тени.

В одном из отделений было двое тачечников. Оба – кавказцы, прикованные за побег.

Один из них, высокий, крепкий мужчина с открытым лицом, смелыми, вряд ли когда отражавшими страх глазами, при перекличке, громыхая цепями, провез свою тачку мимо нас.

Другой лежал в углу.

– А тот чего лежит?

Тачечник что-то проговорил слабым, прерывающимся голосом.

– Болеет она! Очень сильно болеет! Слаба стала! – объяснил татарин-переводчик.



Во время молитвы он поднялся и стоял, опираясь на свою тачку, охая, вздыхая, напоминая какой-то страдальческий призрак, при каждом движении звеневший цепями.

Вы не можете себе представить, какое впечатление производит человек, прикованный к тачке.

Вы смотрите на него прямо с удивлением.

– Да чего это он ее все возит?

И воочию видишь, и не верится в это наказание.

По окончании проверки кандалные пели молитвы.

Было странно слышать: в «номере» – 40–50 человек, а поет слабенький хор из 7–8. Остальные все кавказцы...

Меня удивляло, что в кандалном отделении не пели «Христос воскрес».

– Почему это? – спросил я у смотрителя.

– А забыли, вероятно!

Люди, забывшие даже про то, что теперь пасхальная неделя!..

# Раскомандировка

Пятый час. Только-только еще рассвело.

Морозное утро. Иней легким белым налетом покрывает все: землю, крыши, стены тюрьмы.

Из отворенных дверей столбом валит пар. Нехотя, почесываясь, потягиваясь, выходят невыспавшиеся, не успевшие отдохнуть люди; некоторые на ходу надевают свое рваньё, другие торопятся прожевать хлеб.

Не чувствуется обычной свежести и бодрости трудового, рабочего утра.

Люди становятся шеренгами; плотники – к плотникам, чернорабочие – к чернорабочим.

Надзиратели по спискам выкликают фамилии.

– Здесь!.. Есть!.. – на все тоны слышатся с разных концов двора голоса, то заспанные, то мрачные, то угрюмые.

– Мохаммед-Бек-Искандер-Али-Оглы! – запинаясь читает надзиратель. – Ишь, черт, какой длинный.

– Иди, что ли, дьявол! Малайка<sup>3</sup>, тебя зовут! – толкают каторжные кавказца, за три года каторги все еще не привыкшего узнавать своего громкого «бексакого» имени в безбожно исковерканной передаче надзирателя.

---

<sup>3</sup> Название всех молодых кавказцев. Старые зовутся «вабаями».

Над всем этим царит кашель, хриплый, затяжной, типичный катаральный кашель.

Многих прохватывает на морозце «цыганский пот». Дрожат, еле попадают зуб на зуб.

Ждут не дождутся, когда крикнут:

– Пошел!

Еще очень недавно этот ранний час, час раскомандировки, был вместе с тем и часом возмездия.

Посредине двора ставили «кобылу», – и тут же, в присутствии всей каторги, палач наказывал провинившегося или не выполнившего накануне урока.

А каторга смотрела и... смеялась.

– Баба!.. заверещал как поросенок! Не любишь! – встречали они смехом всякий крик наказуемого.

Жестокое зрелище!

Иногда каторга «экзаменовала» своих стремившихся заслужить уважение товарищей и попасть в иваны, в герои каторги.

На «кобылу» клали особенно строптивного арестанта, клявшегося, что он ни за что «не покорится начальству».

И каторга с интересом ждала, как он будет держать себя под розгами.

Стиснув зубы, подчас до крови закусив губы, лежал он на «кобыле» и молчал.

Только дико вращавшиеся глаза да надувшиеся на шее жилы говорили, какие жестокие мучения он терпел и чего

стоит это молчание перед лицом всей каторги.

– Двенадцать! Тринадцать! Четырнадцать! – мерно считал надзиратель.

– Не мажь!.. Реже!.. Крепче! – кричал раздраженный этим стоическим молчанием смотритель.

Палач бил реже, клал розгу крепче...

– Пятнадцать... Шестнадцать... – уже с большими интервалами произносил надзиратель.

Стон, невольный крик боли вырывался у несчастного.

«Срезался! Не выдержал!»

Каторга отвечала взрывом смеха.

Смотритель глядел победоносно:

– Сломал!

Иногда каторга ждала раскомандировки, просто как интересного и смешного спектакля.

– Смотрите, братцы, какие я завтра курбеты буду выкидывать, как меня драть будут. Приставление! – похвалялся какой-нибудь жиган, продувший в карты все, до казенной одежды и пайка включительно, питающийся крохами со стола каторги и за это разыгрывающий роль шута.

И каторга ждала «приставления».

Помирая от внутреннего, еле сдерживаемого смеха, смотрела она на «курбеты», которые выделявал жиган.

Многие не выдерживали, прыскали от смеха, на землю приседали от хохота: «Не могу, братцы вы мои».

А несчастный жиган старался.

Падал перед зрителем на колени, клялся, что никогда не будет, просил пощадить его, «сироту, деточек малых ради».

Не давался положить на «кобылу», кричал еще тогда, когда палач только замахивался.

– Ой, батюшки, больно! Ой, родители, больно!

– Крепче его, шельму! – командовал взбешенный зритель.

А жиган, лежа под розгами, прибирал самые «смешные» восклицания:

– Ой, бабушка моя милая! Родители мои новопреставленные!

И кровью и телом расплачивался за те крохи, которые бросала ему со своего стола каторга.

Расплачивался, доставляя ей «довольствие».

Наказание кончилось, и жиган, часто еле-еле, но непременно с деланой, натянутой улыбкой, подходил к своим.

– Ловко!

Еще недавно, выйдя ранним морозным утром на крыльцо, можно было слышать вопли и стоны, несшиеся с тюремного двора.

Но *tempora mutantur*... Веяния нашего великого гуманного века все же сказались и на Сахалине.

И зритель Корсаковской тюрьмы горько жаловался мне, что ему не дают теперь «исправлять» преступников.

Эти утренние расправы, экзамены и спектакли для катор-

ги составляют сравнительно редкость.

Раскомандировка происходит и кончается тихо и мирно.

Перекличка кончена.

– Ступай!

И каторжные, с топорами, пилами, веревками, срываются с места, бегут вприпрыжку, стараясь согреться на ходу.

# Тюрьма кандальная

«Кандальной» называется на Сахалине тюрьма для наиболее тяжких преступников, официально – «тюрьма разряда испытуемых», тогда как «тюрьма разряда исправляющихся» – для менее тяжких или окончивших срок «испытваемости» – называется «вольной тюрьмой», потому что ее обитатели ходят на работы без конвоя, под присмотром одного надзирателя.

– Кандальная тюрьма у нас плохая! – заранее предупредил меня смотритель. – Строим новую, – никак достроить не можем.

И чтобы показать мне, какая у них плохая тюрьма, смотритель ведет меня по дороге в пустое, перестраивающееся отделение.

– Не угодно ли? Это стена? – Смотритель отбивает палкой куски гнилого дерева. – Да из нее и бежать-то нечего! Разбежался, треснулся головой об стену – и вылетел насквозь. Воздух скверный. Зимой холодно, вообще – дрянь.

Гремит огромный ржавый замок.

– Смирно! – командует надзиратель.

Громяхают цепи, и около нар вырастают в шеренгу каторжные.

На первый день Пасхи из кандалной тюрьмы бежало двое – несмотря на данное всей тюрьмой «честное арестант-

ское слово», – и теперь, в наказание, закованы все.

Сыро и душно; запах ели, развешанной по стенам, немножко освежает этот спертый воздух.

Вентиляции – никакой.

Пахнет пустотой, бездомовьем.

Люди на все махнули рукой – и на себя.

Никаких признаков хоть малейшей, хоть арестантской домовитости. Никакого стремления устроить свое существование поноснее.

Даже обычные арестантские сундуки – редко-редко у кого.

Голые нары, свернутые комком соломенные грязные матрацы в головах.

По этим голым нарам бродит, подняв хвост, ободранная чахлая кошка и, мурлыкая, ласкается к арестантам.

Арестанты очень любят животных; кошка, собака – обязательная принадлежность каждого «номера». Может быть, потому и любят, что только животные и относятся к ним как к людям.

Посреди номера стол – даже не стол, а высокая длинная узкая скамья. На скамье налито, валяются хлебные крошки, стоят неубранные жестяные чайники.

Мы заходим как раз в тот «номер», где живут двое тачечников.

– Ну-ка, покажи свой инструмент!

Несмазанная тележка визжит, цепи громыхают, прикован-



ный тачечник подвозит к нам свою тачку.

Тачка, весом пуда в два, прикована длинной цепью к ножным кандалам.

Раньше она приковывалась к ручным, но теперь ручные кандалы надеваются на тачечников редко, в наказание за особые провинности.

Куда бы ни шел арестант – он всюду везет за собой тачку. С нею и спит, на особой койке, в уголке, ставя ее под кровать.

– На сколько лет приговорен к тачке? – спрашиваю.

– На два. А до него на этой постели спал три года другой тачечник.

Я подхожу к этой постели.

У изголовья дерево сильно потерто. Это – цепью. Пять лет трет это дерево цепь...

– Дерево, и то стирается! – угрюмо замечает мне один из каторжников.

Наказание тяжкое, – оно было бы совсем невыносимым, если бы тачечники изредка не давали сами себе отдыха.

Трудно заковать арестанта «наглухо». При помощи товарищей, намазав кандалы мылом, – хоть и с сильной болью, они иногда снимают на ночь оковы, а с ними освобождаются и от тачки, отдыхают хоть несколько часов в месяц.

Бывают случаи даже побегов тачечников.

– Работают у вас тачечники?

– Я заставляю, а в других тюрьмах отказываются. Ничего

с ними не поделаешь: народ во всем отчаявшийся.

Кругом угрюмые лица. Безднадежностью светящиеся глаза. Холодные, суровые, озлобленные взгляды, — и злоба и страдание светятся в них. Вот-вот, кажется, лопнет терпение этих «испытываемых» людей.

Никогда мне не забыть одного взгляда.

Среди каторжных один интеллигентный, некто Козырев, москвич, сосланный за дисциплинарное преступление на военной службе.

Симпатичное лицо. И что за странный, что за страшный взгляд!

Такой взгляд бывает, вероятно, у утопающего, когда он в последний раз всплывает над водой и оглянется, — ничего, за что бы ухватиться, ниоткуда помощи, ничего, кроме волны, кругом. Безднадежно, с предсмертной тоской взглянет он кругом и молча пойдет ко дну, без борьбы.

— Поскорей бы!

Тяжело и глядеть на этот взгляд, а каково им смотреть?

Среди кандалных содержатся беглые, рецидивисты и состоящие под следствием.

— Ты за что?

— По подозрению в убийстве.

— Ты?

— За кражу.

— Ты?

— По подозрению в убийстве.

«По подозрению»... «по подозрению»... «по подозрению».

– Ты за что?

– За убийство двоих человек! – слышится прямой, резкий ответ, сказанный твердым, решительным голосом.

– Поселенец он! – объясняет смотритель. – Отбыл каторгу и теперь опять убил.

– Кого ж ты?

– Сожительницу и надзирателя.

– Из-за чего ж вышло?

– Баловаться начала. С надзирателем баловалась. «Пойду да пойду к надзирателю жить, что мне с тобой, с поселенцем-то каторжным?» – «Врешь, – говорю, – не пойдешь». Просил ее, молил, Господом Богом заклинал. И не пошла бы, может, да надзиратель за ней пришел – и взял. «Я, – говорит, – ее в пост поведу. Ты с ней скверно живешь. Бьешь». – «Врешь, – говорю, – эфиопская твоя душа! Пальцем ее не трогаю. И тебе ее не отдам. Не имеешь никакого права ее от меня отбирать!» – «У тебя, – говорит, – не спрашивался! Одевайся, пойдем, – чего на него смотреть». Упреждал я: не делай, мол, этого, плохо выйдет. «А ты, – говорит, – еще погрози, в карцере, видно, давно не сиживал. Скажу слово – и посидишь!» Взял ее и повел...

Передергивает поселенца при одном воспоминании.

– Повел ее, а у меня голова кругом. Стой, думаю. Взял ружье – ружьишко у меня было. Они-то дорогой шли, – а я

тайгой, тропинкой, вперед их забежал, притаился, подождал. Вижу, идут, смеются. Она-то зубы с ним скалит... И прикончил. Сначала его, а потом уж ее – чтоб видела!

«Прикончив», поселенец жестоко надругался над трупами. Буквально искромсал их ножом. Много накопившейся злобы, тяжелой обиды сказалось в этом зверском, циничном издевательствах над трупами.

– Себя тогда не помнил, что делал. Рад только был, что ему не досталась... Да и тяжело было.

Поселенец – молодой еще человек с добродушным лицом. Но в глазах, когда он рассказывает, светится много воли и решимости.

– Любил ты ее, что ли?

– Известно, любил. Не убивал бы, если б не любил...

– Ваше высокоблагородие, – пристаёт к зрителю, пока я разговариваю в сторонке, пожилой мужичонка, – велите меня из кандальной выпустить! Что ж я сделал? На три дня всего отлучился. Горе взяло, – выпил, только и всего. Достал водки бутылку, да и прогулял. За что же меня держать?

– Врешь, паря, убежишь!

– Господи, да зачем мне бежать? Что мне, в тюрьме, что ли, нехорошо? – распинается «беглец». – Сами изволите знать, было бы плохо, – взял борцу, да и конец. Сами знаете, лучше ничего и не может быть. Борец – от каторги средство первое.

– Долго ли меня здесь держать будут? – мрачно спраши-

вает другой. – Долго ли, спрашиваю!

– Следствие еще идет.

– Да ведь четвертый год я здесь сижу, задыхаюсь! Долго ли моему терпению предела не будет? Ведь сознаюсь я...

– Мало ли что ты, паря, сознаешься, да следствие еще не кончено.

– Да ведь сил, сил моих, говорю, нету.

– Ваше высокоблагородие! Что ж это за баланду дали? Есть невозможно! Картошка нечищенная! На Пасху разговлаться, – и то рыбу дали!..

Мы выходим.

– Выпустите вы меня, говорю, вам...

– Ваше высокоблагородие, долго ли?.. Ваше...

Надзиратель запирает дверь большим висячим замком.

Из-за запертой двери доносится глухой гул голосов.

Корсаковская кандалная тюрьма – одна из наиболее мрачных, наиболее безотрадных на Сахалине.

Быть может, ее обитатели произвели на вас не только неприятное – отталкивающее впечатление?

Милостивые государи, вы стоите рядом с человеческим горем. А горе надо слушать сердцем.

Тогда вы услышите в этом «зверстве» много и человеческих мотивов, в «злобе» – много страдания, в «циничном» смехе – много отчаяния...

По грязному двору кандалной тюрьмы мы переходим в «отделение исправляющихся».

# Вольная тюрьма

Люди на работах.

В тюрьме остались только староста, «каморщики», то есть уборщики камер, парашечники, – вообще «чиновники», как их насмешливо называет каторга.

Метут, скребут, чистят, прибирают.

Везде белят.

Из ельника делают очень живописные узоры и убирают ими стены.

Ждут приезда начальства, – и, конечно, тогда тюрьма не будет иметь того вида, какой она имеет теперь в своем обычном, повседневном, будничном уборе.

Вольная тюрьма – и Корсаковская, и всякая другая на Сахалине – производит впечатление просто-напросто ночлежного дома.

Очень плохого, очень грязного, где собираются самые подонки городской нищеты.

Где никто не заботится ни о воздухе, ни о чистоте, ни о гигиене.

Пришел, выпался – и ушел!

– Пропади она пропадом!

Грязные, тусклые окна пропускают мало света.

Нары – посреди каждого «номера» – скатом на две стороны. Нары вдоль стен.

Грязь – хоть ножом отскабливай. Мылом никаким не отмоешь.

Когда моют полы, поднимают одну из половиц, и грязь просто-напросто стекает под пол.

Мы застаем как раз такую картину.

– Ах, свиньи, свиньи! – качает головой смотритель, словно в этом виноваты одни «свиньи».

Пробую палкой – палка чуть не на пол-аршина уходит в жидкую грязь в подполице.

На этом-то болоте из грязи стоит тюрьма. Этими испарениями дышат люди.

– Очень, очень скверная тюрьма! – подтверждает смотритель. – Теперь еще ничего, только сыро. А зимой – холод. Скверно, очень, очень скверно.

Почти во всякой тюрьме, в каком-нибудь номере, вы непременно увидите скрипку. Она висит обыкновенно на передней стене, где висит все, что есть наиболее ценного у тюрьмы, – образ, лубочные картины, какие есть, лучшее платье. Около этой же стены стоит обыкновенно и отдельная, сравнительно чистая постель всегда «чисто» одетого в свое платье старосты.

Скрипка – любимый инструмент каторги.

Помню, я рассказал кому-то из каторжных ту сцену из «Мертвого дома», где Достоевский описывает, как загулявший каторжанин нанимает скрипача, и тот целый день ходит за ним и пищит на скрипке.

Мой собеседник даже словно обрадовался:

– Вот-вот – для этого самого! Загуляет кто! Это господин, про которого вы изволите говорить, верно описал.

– Да ведь он описывал давнишнее время.

– Все одно – и теперь-с. Скрипка – первая штука, ежели гулять. Веселый струмент.

В одной из камер на стене висели самодельные картины одного из каторжных, Бабаева. Картины изображали скачущих верхами генералов.

– А где сам художник?

– На обвахте сидит. В одиночке содержится.

– Вот что, я возьму одну картину, – на тебе рубль, передай Бабаеву. Ему, чай, на табачишко, на сахар нужно! – дал я нарочно, чтобы испытать, передаст ли человек деньги своему еще более страждущему товарищу.

– Смотри же, передай!

– Помилте!

Деньги переданы не были.



# Мастерские

Корсаковские мастерские – столярная, слесарная, токарная, сапожная, идеальная, кузница – работают недурно.

И у господ служащих и... даже во Владивостоке у многих можно видеть очень приличную мебель работы корсаковских мастерских.

Мастерские расположены здесь же, на тюремном дворе.

Многие мастеровые в них и ночуют. Как-то легче на душе становится, когда после тюремной «оголтелости» и голой нищетыходишь в мастерские.

Здесь хоть чуть-чуть да пахнет в воздухе достатком, у всякого есть хоть что-нибудь и лишнее.

Люди имеют кое-какой посторонний заработишко – по праздникам, во время, полагающееся для отдыха.

У кого есть кроватишка, у кого хоть какое-нибудь лишнее тряпье.

Да и лица не такие уж «каторжные» – труд все-таки кладет на них благородный, человеческий отпечаток.

Труд подневольный, «барщина», но если вы хотите видеть, как может работать арестант, с какой охотой, как старательно он работает, если хоть чуть-чуть заинтересован в труде, – похвалите работу.

– Отличные, мол, коты (арестантские башмаки). Видно, хороший мастер. Тонкую работу исполнять можешь.

Доброе слово на каторге – редкость<sup>4</sup>.

Доброе слово, непривычное, производит на каторжного больше впечатления, чем привычная розга.

От похвалы лицо рабочего распухнет в улыбку, – он непременно достанет из «укладки» и похвастается работою «на сторону».

И что за тщательная, что за любовная работа! Подошва у другого и та вся выстрочена какими-то рисунками.

Не то чтоб ему за это заплатили дороже, а любит он «свою» работу, старается над ней, отделяет сапог какой-нибудь, словно художник-ювелир гранит редкий, ему самому нравящийся бриллиант.

И недаром люди, хорошо знающие каторгу, говорят, что, если бы ее хоть чуть-чуть заинтересовать материально в труде, каторга меньше давала бы лентяев, игроков, рецидивистов, – меньше народу падало бы в ней окончательно.

Но довольно «философии».

Перед нами опять мрачная, каторжная картина.

Молодой парень сколачивает большой, неуклюжий гроб. Другой, уже оконченный, стоит тут же на полу.

– Покойники разве есть?

– Нет. Да из лазарета присылали сказать: будут. Ну и го-

---

<sup>4</sup> Помню в п. Александровском меня приветствовал при встрече какой-то слегка подвыпивший поселенец. – Христос воскресе, барин! – Воистину воскресе! Поселенец снял шапку, поклонился в пояс – нет, ниже, чем в пояс, рукой чуть не касаясь земли. – Поко-орнейше вас благодарю. – Да за что ты меня благодаришь-то, чудак-человек? – За хороший ответ. Больно ласково ответили.

товим.

Парень со злостью заколачивает гвоздь.

– Возись с чертями! Хороший, природный столяр был, у Файнера, в Киеве, мастеровым служил, может, изволите знать, первый магазин, – а теперь вот гроба сколачивай! Тьфу!

– А за что пришел?

– В Киевском университете за убийство.

– С грабежом?

– С ним. Много награбили, держи карман шире!

– А надолго?

– Без срока.

Неподалеку старичок в очках, низко нагнувшись, мастерит коты, тщательно заколачивает гвоздики.

– Давно здесь, дедушка?

– Недавно, милостивый государь мой, – приветливо говорит он, – недавно.

– А за что?

– Старуху свою убил.

– Жену?

– Нет, так. Полюбовница была. Десять лет душа в душу выжили... И этакий грех вышел!

– Что же случилось?

– Сдурела, старая. В Феодосии мы жили, я хорошим мастером слыл, жил скромно, деньжонки имел. На них-то она и зарилась. «Умрет, мол, сам, все родные отберут! Отравлю

да отравлю и деньгами воспользуюсь». А тут еще путаться с молодым начала. «Отравлю!» – да и все. Замечаю я. Живем, как два волка в клетке, друг на друга зубами щелкаем. Мне ее боязно – того и гляди, отравит; она меня опасается – потому видит, что замечаю. Так тяжело в те поры было, так тяжело... Не выдержал... убил.

Каких, каких только драм здесь нет.

# Околоток

Корсаковский тюремный околоток – это тот же лазарет по назначению, та же тюрьма по характеру.

Околоток – это место, куда кладут не особенно тяжких больных, нуждающихся в отдыхе.

Здесь же живут и «богодулы», богадельщики, старики и молодые, неспособные, вследствие болезни или увечья, к работе.

В околотке только одно удобство – у всякого своя постель. Воздух такой же спертый и душный, как в тюрьме.

Околотком заведует врач Сурминский, «старый сахалинский служака», про которого мне с восторгом говорил смотритель.

– Вот это доктор так доктор! Не нынешним, не молодым, чета! У него слабых арестантов не бывает почти, все полные, все годятся в работу. Пришел к нему арестант, жалуются, – «врешь!». Не то что нынешние!

О том, что это за доктор, вы можете составить себе понятие по следующему.

Наш матрос с парохода «Ярославль» обварил себе в бане кипятком голову.

Ожог был страшный: лицо, голова вся напоминала какую-то сплошную бесформенную массу.

Послали больного к доктору Сурминскому.

– Пусть везут на пароход! У них на пароходе свой врач есть!

И пришлось везти несчастного на пристань, ждать добрый час, пока вернется катер, везти больного в сильное волнение на зыбком, качающемся катере, версты за полторы от берега, на пароход.

После этого станут понятными все рассказы, которые ходят в каторге про доктора Сурминского.

В разговоре с ним меня очень удивило его нежное, почти любовное отношение к телесным наказаниям.

– Взбрызнуть – и все.

Словно о резеде какой-то шла речь.

И он с таким смаком говорил это «взбрызнуть».

Но господь с ним! Займемся лучше тюремными типами.

Вот чисто, даже щеголевато одетый пожилой человек.

Он нарочно прожигает себе нёбо папиросой и растравляет рану, чтобы лежать в околотке.

– Работать, что ли, не хочет?

– Какое там! – смеются больные. – Старостой был в «номере», за воровство прогнали. Вот теперь и стыдно в «номер» глаза показать. То все спал на своей наре, а теперь пошел на общую. Был староста, «начальство», «чиновник», а теперь – такой же каторжный.

Каторга смеется.

Бедняга, видимо, сильно страдает от уязвленного самолюбия.

– Ты что, старина?

– Богодуль я, вашескорodie! Ни к чему не способный человек!.. Всем и себе лишний. Так вот живу, только паек ем!

– А много лет-то?

– Лет-то не так, чтоб уж очень много, да побоев многонько. Из бродяг я, еще в Сибири ходил бродяжить. Участь хотел переменить. Споймали, так били – сейчас отдает. Ни лечь ни встать. Нутра, должно уж, у меня нет. Тяжко здесь сидеть-то, ох, как тяжело! Ну, да теперь уж недолго осталось... Теперь недолго...

– Срок скоро кончается?

– Нет. Помру.

Рядом хроник-чахоточный.

– На ту бы сторону мне. Я б и поправился...

– А ведь ему ужасно в этом воздухе быть, доктор?

– Да... да... Ну, да что ж делать!

# Женская тюрьма

Она невелика.

Всего один «номер», человек на десять. Женщины ведь отбывают на Сахалине особую каторгу: их отдают в сожигательницы поселенцам.

В тюрьме сидят только состоящие под следствием.

При нашем появлении с нар встают две.

Одна – старуха-черкешенка, убийца-рецидивистка, ни звука не понимающая по-русски.

Другая – молодая женщина. Крестьянка Вятской губернии. Попала в каторгу за то, что подговорила кума убить мужа.

– Почему же?

– Неволей меня за него отдали. А кума-то я любила. Думала, вместе в каторгу пойдем. Ан его в одно место, а меня в другое.

Здесь она совершила редкое на Сахалине преступление.

С оружием в руках защищала своего сожителя.

Он поссорился с поселенцами. На него кинулось девять человек, начали бить.

Тогда она бросилась в хату, схватила ружье и выстрелила в первого попавшегося из нападавших.

– Что ж ты полюбила его, что ли, сожителя?

– Известно, полюбила. Ежели бы не полюбила, разве стала



бы его собой защищать, — чай, меня могли убить... Хороший человек; думала, век с ним проживем, а теперь на-тко...

Она утирает набежавшие слезы и принимается тихо, беззвучно рыдать.

— Ничего ей не будет, — успокаивает меня смотритель. — Осудят, отдадут на дальнейшее поселение опять к какому-нибудь поселенцу в сожительницы... Женщины у нас на Сахалине безнаказанны.

Действительно, с одной стороны — как будто безнаказанность.

Но какое наказание можно придумать тяжелее этой «отдачи» другому, отдачи женщины, полюбившей сильно, горячо, готовой жертвовать своей жизнью.

Не пахнуло ли чем-то затхлым, тяжелым на вас? Отжитым временем? Крепостным правом, когда так спокойно «отдавали», играя чужой жизнью и сердцем?

Изо всех тюрем, которые мы только что обошли с вами, эта маленькая производит самое тяжелое впечатление.

# Карцеры

Сыро, тяжелый, зловонный, невыносимый воздух, но довольно светло.

Таково общее впечатление корсаковских одиночных карцеров при гауптвахте.

Здесь содержатся одиночные подследственные и наиболее провинившиеся каторжные.

Вот – Авдеев.

Юноша с неприятным лицом, отталкивающим взглядом. Необыкновенно циничный.

Он производит впечатление волчонка, затравленного и злобного.

Словно для дополнения сходства, он постоянно стоит около окошечка в двери и грызет дерево. Отгрыз уж порядочно, как будто точит зубы.

Авдееву теперь около 19 лет, а в 15 он был уже признан неисправимым преступником.

Авдеев приговорен к вечной каторге.

В четырнадцать лет он совершил тягчайшее преступление: убил отца и мать<sup>5</sup>.

– За что же ты их убил?

– За что убивают? За деньги!

---

<sup>5</sup> Убийство в Воронеже.

Его коротенькая жизнь – целый роман.

Его незаконный отец – офицер. Мать – пленная турчанка.

Отец сошелся с ней во время последней войны и привез вместе с прижитым ребенком в Россию.

Ни отец, ни мать не любили этого несчастного малыша.

Довольно состоятельные люди, они совсем забросили ребенка. Авдеев еле умеет читать.

– Известно, если бы хорошо со мной обращались, – не зарезал бы!

О своем преступлении Авдеев говорит спокойно, хладнокровно, цинично.

– Деньги были хорошие – тридцать тысяч. Удрал бы за границу, – и все! Да нет, пьянствовать начал! Известно, мал был, глуп еще!

В каторге Авдеев выходит из карцера, чтобы лечь на «кобылу», под розги, – и встает с «кобылы», чтоб сесть в карцер.

Он упорно отказывался работать. Пробовал бежать, – поймали.

За время каторги он успел получить 500–600 розог.

И об этом говорит так же спокойно, хладнокровно и цинично.

– Да почему же ты отказываешься работать?

– А так! Не хочу – и не стану.

– Да ведь что же впереди? Задерут!

– Задрать не смеют.

– Да ведь больно?

– Больно, – терпеть нужно.

– Неужели же это лучше, чем работать?

– Известно, лучше. Отдерут, да перестанут. А работа-то с утра до ночи, каждый день.

– Ну а в карцере сидеть разве приятно?

– Ничего! Сидят люди!.. А только я вам прямо говорю: работать не буду! Положите, дерите хоть до смерти, – не буду!

Он производит тяжелое впечатление.

На меня лично он произвел впечатление «задерганной лошади».

Лошадь, которую сильно дергали и нахлестывали, которая остановилась и упрямо ни за что не сделает ни шагу вперед, как бы ее ни били.

В таких случаях мало-мальски опытные кучера дают лошади просто немного передохнуть.

И мне кажется, что хорошая доза бромистого калия оказала бы куда большее действие, чем розги, на этого болезненно-раздраженного, со взвинченными нервами, отвратительного и глубоко несчастного юношу.

Рядом с ним – бывалый каторжник Бабаев.

Армянин Эриванской губернии.

С симпатичным лицом, на котором во время разговора играет добрая, заискивающая, вкрадчивая улыбка.

Маслянистые глаза, вечно как будто покрытые влагой.

Мягкий, приятный голос.

Он говорит так мягко, нежно, вкрадчиво.

Бабаев не лишен артистической жилки.

Он очень любит рисовать и постоянно рисует одно и то же: генералов с грудью колесом, которые скачут на конях тоже с грудью колесом. Этими картинками увешана вся его камера.

Самый лучший подарок для него – ящик с красками.

Тогда в его глазах светится столько счастья...

Его специальность – убивать товарищей.

Во вновь прибывшей партии он высматривает новичков с деньгами и соблазняет бежать.

Описывает ужасы каторги и легкость бегства.

Обещает достать паспорт и быть преданным товарищем.

И нет ничего удивительного, что новички верят доброму, ласковому тону его голоса, вкрадчивой улыбке, такому симпатичному лицу.

Где-нибудь в глухой тайге он убивает товарища, отбирает деньги и возвращается в тюрьму.

На эти деньги он живет, лакомится, покупает себе краски и рисует свои любимые картинки.

Каторга обвиняет его в шести убийствах. Официально он обвиняется в двух.

Погоня, отправленная ему вдогонку при последнем бегстве – они бежали втроем, – наткнулась сначала на один труп, потом на другой, – и по этому страшному следу добралась до Бабаева.

Вот человек, «приговоренный к жизни».

Следствие о нем тянется, по сахалинскому обычаю,

несколько лет; и самая страшная для него минута – это когда следствие кончится и его переведут из одиночного заключения в общую тюрьму.

Об этой минуте он боится и подумать.

Арестанты его убьют.

О боже! Что это за жалкое, за презренное существование, которое он влачит и которое он предпочитает смерти.

Вечная мысль о мести со стороны арестантов развила у него манию преследования.

Он никуда не выходит из карцера, отказывается даже от прогулок.

Он боится выйти даже в сопровождении солдат.

– Бросится кто-нибудь и убьет.

Когда он говорит это, он бледнеет, судороги пробегают по лицу, а глаза полны такого страха, словно над ним уж занесен нож.

Такое выражение лица, вероятно, бывает у человека, когда он лежит уже на земле и ждет смертельного удара.

Он, вероятно, сойдет с ума от этой мысли, – и... это, быть может, будет лучше для него.

Лучше безумие, чем это сознание, вечный трепет, вечная дрожь.

## «Исправился»

– Хе-хе! Это человек, которого лишили невинности, – сказал мне о нем один из сахалинских чиновников.

Человек, с которым случилось это странное происшествие, – Балад-Адаш, горец, осужденный за убийство.

Человек феноменальной силы, вероятно, когда-то такой же отваги, решительный и гордый.

Он был «нетерпим» на каторге.

Он не отказывался работать, но если ему или кому-нибудь из его товарищей назначали работу «не по правилам», он протестовал тем, что бросал работать.

Он был вежлив и почтителен, но, если его ругали, он повертывался и уходил.

Если ему делали замечание «зря, не за дело», он возражал.

– Ему слово, а он – десять.

Он был прямо помешан на справедливости. И водворял ее всюду как мог.

– Словно не мы его, а он нас исправлять сюда приехал! – обиженно рассказывал мне о нем чиновник.

К тому же «пороться» за свои дерзости Балад-Адаш не давался.

– Его на «кобылу» класть, а он драться. «Не позволяем меня розгам трогать! Себе, другим, каким попало, резать будем! Не трогай лучше!» – кричит. Что с ним поделаешь?!

– Связать бы да выдрать хорошенько! – перебил кто-то, присутствовавший при разговоре.

– Покорнейше благодарю. Сегодня его свяжешь и выдерешь, а завтра он тебе нож в бок. С этими кавказцами шутки плохи.

В это время на Корсаковский округ налетел – именно не приехал, а налетел – новый смотритель поселений Бестужев.

Человек вида энергичного, силы колоссальной, нрава крутого, образа мыслей решительного: «Какие там суды? В морду, да и все».

К нему-то и отправили для «укрощения» Балад-Адаша.

Отправили с ответственным предупреждением, что это за экземпляр.

Весь округ ждал.

– Что выйдет?

Но пусть об этом рассказывает сам энергичный смотритель.

– Выхожу из канцелярии. Смотрю, стоит среди арестантов тип этакий. Поза свободная, взгляд смелый, дерзкий. Глядит, шапки не ломает<sup>6</sup>. И все, сколько здесь было народу, усталились: «Что, мол, будет? Кто кого?» Самолюбие заговорило. Подхожу. «Ты что, мол, такой-сякой, шапки не снимаешь? А? Шапку долой!» Да как развернусь, – с ног!

Балад-Адаш моментально вскочил с земли, «осатанел», кинулся на смотрителя: «Ты драться?»

---

<sup>6</sup> Балад-Адаш знал, что его прислали для «укрощения».



Я развернулся – два. С ног долой, кровь, без чувств унес-ли. Поединок был кончен. Балад-Адаш укрощен.

– Думали потом, что он его зарежет. Нет, ничего, обошелся, – рассказывали мне другие чиновники.

– Плакал Баладка в те поры шибко. Сколько дней ни с кем не говорил. Молчал, – рассказывали мне арестанты.

Я видел Балад-Адаша. Познакомился с ним.

Балад-Адаш действительно исправился.

Его можно ругать, бить. Он дается сечь сколько угодно, и ему частенько приходится испытывать это удовольствие: пьяница, вор, лгун, мошенник, доносчик; нет гадости, гнусности, на которую не был бы способен этот «потерявший невинность» человек.

Лентяй – только и старается, как бы свалить свою работу на других.

Он пользуется презрением всей каторги и принадлежит к хамам – людям совсем уж без всякой совести, самому презренному классу даже среди этих подонков человечества.

Я спрашивал его между прочим и об «укрощении».

Балад-Адаш чуть-чуть было нахмурился, но сейчас же улыбнулся во весь рот, словно вспоминая о чем-то очень ку-рьежном, и сказал, махнув рукой:

– Сильно мене мордам бил! Шибко бил!

Таков Балад-Адаш и его исправление.

# Два одессита

Одесса дала Корсаковской тюрьме двух представителей. Верблинского и Шапошникова.

Трудно представить две бóльшие противоположности.

Верблинский и Шапошников – это два полюса каторги.

Если собрать все, что в каторге есть худшего, подлого, низкого, эта квинтэссенция каторги и будет Верблинский.

С ним я познакомился на гауптвахте, где Верблинский содержится по подозрению в убийстве с целью грабежа двух японцев.

Верблинский клянется и божится, что он не убивал. Он был свидетелем убийства, при нем убивали, он получил свою часть за молчание, но он не убивал.

И ему можно поверить.

Нет той гнусности, на которую не был бы способен Верблинский. Он может резать сонного, убить связанного, задушить ребенка, больную женщину, беспомощного старика. Но напасть на двоих с целью грабежа – на это Верблинский не способен.

– Помилуйте! – горячо протестует он. – Зачем я стану убивать? Когда я природный жулик, природный карманник! Вы всю Россию насквозь пройдите, спросите: может ли карманник человека убить? Да вам всякий в глаза расхохочется! Стану я японцев убивать!

– Имеешь, значит, свою «специальность»?

– Так точно. Специальность. Вы в Одессе изволили быть? Адвоката, – Верблинский называет фамилию когда-то довольно известного на юге адвоката, – знаете? Вы у него извольте спросить. Он меня в восемьдесят втором году защищал, – в Елисаветграде у генеральши К. восемнадцать тысяч денег, две енотовые шубы, жемчуг взял. Восемьсот рублей за защиту заплатил. Вы у него спросите, что Верблинский за человек, – он вам скажет! Да я у кого угодно что угодно когда угодно возьму. Дозвольте, я у вас сейчас из кармана что угодно выйму – и не заметите. В Киеве, на девятисотлетие Крещения Руси, у князя К. – может, изволили слышать – крупная кража была. Тоже моих рук дело!

В тоне Верблинского слышится гордость.

– И вдруг я стану каких-то там японцев убивать! Руки марать, – отродясь не марал. Да я захотел бы что взять, я и без убийства бы взял. Кого угодно проведу и выведу. Так бы подвел, сами бы отдали. Ведь вот здесь в одиночке меня держат, – а захотел я им доказать, что Верблинский может, и доказал!

Верблинский объявил, что знает, у кого заложена взятая у японцев пушнина – собольи шкурки, – но для того, чтобы ее выкупить, нужно пятьдесят два рубля и «верного человека», с которым бы можно было послать деньги к закладчику.

Смотритель поселений господин Глинка, производивший следствие по этому делу, поверил Верблинскому и согласил-

ся дать пятьдесят два рубля.

– Сами и в конверт заклейте!

Господин Глинка сам и в конверт заклеил.

Верблинский сделал на конверте какие-то условные арестантские знаки.

– Теперь позвольте мне верного человека, которого бы можно послать, потому по начальству я объявлять не могу.

Ему дали какого-то бурята. Верблинский поговорил с ним наедине, дал ему адрес, сказал, как нужно постучаться в дверь, что сказать.

– Смотри, конверт не потеряй!

И Верблинский сам засунул буряту конверт за пазуху.

– Выходим мы с гауптвахты, – рассказывал мне об этом господин Глинка, – взяло меня сомнение. «Дай, – думаю, – распечатаю конверт». «Нет, – думаю, – распечатаю, тот узнает, пушнины не даст». Или распечатать, или нет? В конце концов не выдержал – распечатал.

В конверте оказалась бумага. Верблинский успел «передернуть», «сделать вольт» и подменил конверт.

Бросились сейчас же его обыскивать: сорок два рубля нашли, а десять так и пропали, как в воду канули.

– За труды себе оставил! – нагло улыбается Верблинский. – За науку! Этакого маху дали! А! Я и штуку-то нарочно подстроил. Мне не деньги нужны были, а доказать хотелось, что я, в клетке, взаперти, в одиночке сидючи, их проведу и выведу. И вдруг я этукую глупость сделаю – людей

резать начну!

– Да ты видел, как резали?

– Так точно. Видел. Я сторожем поблизости был. Меня позвали, чтоб участвовал. Потому иначе донести бы мог. При мне их и кончали.

– Сонных?

– Одного, чей труп нашли, – сонного. А другой, которого не нашли – он в тайге зарыт, – тот проснулся. Метался очень. Его уже в сознание зарезали.

– Отчего же ты не открыл убийц? Ведь самому отвечать придется?

– Помилуйте! Разве вы каторжных порядков не знаете? Нешто я могу открыть? Убьют меня за это.

Верблинский – одессит. В Одессе он имел галантерейную лавку.

– Для отвода глаз, разумеется! – поясняет он. – Я, как докладываю, по карманной части. Или так, – из домов случилось хорошие деньги брать.

Он не говорит «красть». Он «брал» деньги.

– И много раз судился?

– Раз двадцать.

– Все под своей фамилией?

– Под разными. У меня имен-то что было! Здесь даже, когда взяли, два паспорта подложных нашли, – на всякий случай, думал – уйду.

Это человек, прошедший огонь, воду и медные трубы. Все

тюрьмы и остроги России он знает как какой-нибудь турист первоклассные отели Европы. И говорит о них, как об отелях.

– Там сыровато... Там будет посуше. В харьковском центре пища неважная, очень стол плох. В московском кормят лучше – и жить удобнее. Там водка дорога, там – подешевле.

На Сахалин Верблинский попал за гнусное преступление: он добился силой того, чего обыкновенно добиваются любовью.

Его судили в Киеве.

– Не то чтоб она уж очень мне нравилась, – а так, недурна была!

В его наружности – типичной наружности бывалого, прожженного жулика, в его глазах, хитрых, злых, воровских и бесстыдных, – светится душонка низкая, подлая, гнусная.

Шапошников – тоже одессит.

В 87-м или 88-м году судился в Одессе за участие в шайке грабителей под предводительством знаменитого Чумака. Где-то в окрестностях, около Выгоды, они зарезали купца.

Попав на каторгу, Шапошников вдруг преобразился.

Вид ли чужих страданий и горя так подействовал, – но Шапошников буквально отрекся от себя и из отчаянного головореза превратился в самоотверженного, бескорыстного защитника всех страждущих и угнетенных, сделался «адвокатом за каторгу»...

Как и большинство каторжных, попав на Сахалин, он прямо-таки «помешался на справедливости».

Не терпел, не мог видеть равнодушно малейшего проявления несправедливости. Обличал смело, решительно, ни перед кем и ни перед чем не останавливаясь и не трусая.

Его драли, а он, даже лежа на «кобыле», кричал:

– А все-таки вы с таким-то поступили нехорошо! Нас наказывать сюда прислали, а не мучить. Нас из-за справедливости и сослали. А вы же несправедливости делаете.

– Тысяч пять или шесть розог в свою жизнь получил. Вот какой характерец был! – рассказывал мне смотритель.

Как вдруг Шапошников сошел с ума.

Начал нести какую-то околесицу, чушь, делать несуразные поступки. Его отправили в лазарет, подержали и как тихого помешанного выпустили.

С тех пор Шапошников считается дурачком, – его не наказывают и на все его проделки смотрят как на выходки безумного.

Но Шапошников далеко не дурачок.

Он просто переменял тактику.

– На «кобылу» устал ложиться! – как объясняет он.

Понял, что плетью обуха не перешибешь, – и продолжает прежнее дело, но в иной форме.

Он тот же искренний, самоотверженный и преданный друг каторги.

Как дурачок он освобожден от работ и обязан только уби-

рать камеру.

Но Шапошников все-таки ходит на работы, и притом наиболее тяжкие.

Увидав, что кто-нибудь измучился, устал, не может справиться со слишком большим уроком, Шапошников молча подходит, берет топор и принимается за работу.

Но беда, если каторжник, по большей части новичок, скажет по незнанию:

– Спасибо!

Шапошников моментально бросит топор, плюнет и убежит.

Бог его знает, чем питается Шапошников.

У него вечно кто-нибудь «на хлебах из милости».

Он вечно носит хлеб какому-нибудь проигравшему свой паек, с голоду умирающему жигану.

И тоже не дай бог, если тот его поблагодарит.

Шапошников бросит хлеб на пол, плюнет своему обидчику в лицо и уйдет.

Он требует, чтобы его жертвы принимались так же молча, как он их делает.

Придет, молча положит хлеб и молча стоит, пока человек не съест.

Словно ему доставляет величайшее удовольствие смотреть, как другой ест.

Если – что бывает страшно редко – Шапошникову удастся как-нибудь раздобыть деньжонок, он непременно выкупает



какого-нибудь несчастного, совсем опутанного тюремными ростовщиками-татарами.

Свое заступничество за каторгу, свою обличительную деятельность Шапошников продолжает по-прежнему, но уже прикрывает ее шутовской формой, маской дурачества.

Он обличает уже не начальство, а каторгу.

– Ну, что же вы? – кричит он, когда каторга на вопрос начальства: «Не имеет ли кто претензий?» сурово и угрюмо молчит, – что ж примолкли, черти! Орали, орали, будто баланда<sup>7</sup> плоха, чалдон<sup>8</sup>, мол, мясо дрянное кладет, такой, дескать, баландой только ноги мыть, а не людей кормить, – а теперь притихли! Вы уж извините их! – обращается он к начальству. – Орали без вас здорово. А теперь, видно, баландой ноги помыли, простудились и поохрипли! Вы уж с них не взыщите, что молчат.

Или такая сцена.

– Не имеет ли кто претензий? – спрашивает зашедший в тюрьму смотритель.

– Я имею! – выступает вперед Шапошников.

– Что такое?

– Накажите вы, ваше высокоблагородие, этих негодяев! – указывает Шапошников на каторгу. – Явите такую начальническую милость. Прикажите их перепороть. Житья от них нет! Ни днем ни ночью покоя. Орут, галдят! А чего гал-

---

<sup>7</sup> Арестантское название похлебки.

<sup>8</sup> «Чалдон» – прозвище, данное каторгой смотрителю.

дят? Хлеб, вишь, сыр. Врут, подлецы! Первый сорт хлеб! – Шапошников вынимает кусок действительно сырого хлеба, выданного в тот день арестантам, и тычет в него пальцем. – Мягкий хлеб! Отличный! Я из этого хлеба каких фигур налепил! Чудо! А они, вишь, есть его не могут. Свиньи!

Особенно не любит этого «дурака» доктор Сурминский, в свою очередь нелюбимый каторгой за его черствость, сухость, недружелюбное отношение к арестантам.

– Ваше высокоблагородие, – обращается к нему Шапошников в тех редких случаях, когда господин Сурминский обходит камеры, – и охота вам ножки свои утруждать, к этим идолам ходить! Стоят ли они этого? Они вас доктором Водичкой зовут, врут про вас, будто вы только водой их и лечите, а вы об них, негодяях, заботитесь, к ним ходите. Плюньте вы на них, на бестий.

– Пошел прочь! – шипит доктор.

Выходит ли что-нибудь из этих протестов? Но каторга довольна хоть тем, что ее обиды не остаются без протеста.

И стонать при боли – облегчение.

Я много говорил с Шапошниковым.

Это не старый еще человек, которого преждевременно состарили горе и страдания, свои и чужие.

Он получил небольшое образование, прошел два класса реального училища, но кое-что читал и, право, показался мне куда интеллигентнее многих сахалинских чиновников.

Среди чудаческих выходок он много сказал и горького и

дельного.

– Меня здесь полоумным считают! – улыбнулся он. – Опо-лоумеешь! Утром встану, ищу голову – где голова? Нет го-ловы! А голова в грязи валяется! Ха-ха-ха!.. Голову иной раз теряешь, это верно. Да и трудно не потерять. Кругом что?! Грязь, горе, страдания, нищета, разврат, отчаяние. Тут по-теряешься. Трудно человеку против течения плыть. Шибко трудно! Тонет человек – а как тонет, тут его всякий по баш-ке и норовит стукнуть. Тонущего-то ведь можно. Он не уда-рит – у него руки другим заняты, он барахтается. Ха-ха-ха! По башке его, по маковке! А утонет человек совсем – гово-рят: «Мерзавец!» Не мерзавец, а утонувший совсем человек. Вы в городе Париже изволили бывать?

– Был.

– Ну, вот я в книжках читал – не помню, чьего сочи-нения, – дом там есть, «Моргой» прозывается, где утопленни-ков из реки кладут. Вот наша казарма и есть «Морга». Иду я, гляжу, – а направо, налево, на нарах, опухшие трупы утонув-ших лежат. Воняет от них! Разложились, ничего похожего на человека не осталось, – и не разберешь, какая у него раньше морда была! А видать, что человек был! Они говорят: «Мер-завцы», – не мерзавцы, а утопленники. Видит только это не всякий, а тот, кто по ночам не спит. Днем-то свои, а по но-чам чужие думы думает. Чужие болячки у него болят. А вы знаете, барин, кто по ночам не спит?

– Ну?

– Я да мышка, а потому всему разговору крышка!

И Шапошников запел петухом и запрыгал на одной ножке.

Такие странные, бесконечно симпатичные типы создает каторга наряду с Верблинскими.

К сожалению, редки только эти типы, очень редки.

Так же редки, как хорошие люди на свете.

# Убийцы

## (Супружеская чета)

– Душка, а не выпила ли бы ты чайку? Я бы принес.

– Да присядь ты, милый, хоть на минутку. Устал!

– И что ты, душка? Серьезно, я бы принес.

Такие разговоры слышатся за стеной целый день.

Мои квартирные хозяева, ссыльнокаторжные Пищиковы, – преинтересная парочка.

Он – Отелло. В некотором роде даже литературная знаменитость. Герой рассказа Г.И. Успенского «Один на один». Преступник-палач, о котором говорила вся Россия.

Его дело – отголосок последней войны. Его жертва была, как и многие в то время, влюблена в пленного турка. Он, ее давнишний друг, добровольно принял на себя из дружбы роль *postilion d'amour*. Носил записки, помогал сближению. Мало-помалу они на этой почве сблизились, больше узнали друг друга... Он полюбил ту, которой помогал пользоваться любовью другого. Она полюбила его. Турок был забыт – уехал к себе на родину. Они повенчались, лет шесть прожили мирно и счастливо. Он был уже отцом четверых детей. Она готовилась вскоре подарить ему пятого.

Как вдруг в нем проснулась ревность к прошлому.

Этот турок, мимолетный гость ее сердца, забытый, исчезнувший с горизонта, – призраком встал между ними.

Мысль о том, что она делила свои ласки с другим, терзала, мучила, жгла его душу.

Ужасные, мучительные подозрения вставляли в расстроенном воображении.

Подозрение, что она любит «того». Что, лаская его, она думает о другом.

Что дети – его дети – рождены с мыслью о другом.

Эта страшная, эта патологическая душевная драма закончилась страшной же казнью «виновной».

Пищиков привязал свою жену к кровати и засек ее нагайкой до смерти. Мучился сам и наслаждался ее мучениями. Истязание длилось несколько часов... А она... Она целовала в это время его руки.

Любила ли она его так, что даже муки готова была принять от него с благодарностью? Или прощение себе молила в эти страшные минуты – прощения за те душевные пытки, невольной виновницей которых была она...

Таков он – Пищиков. Он осужден в вечную каторгу, но, за скидкой по манифестам, ему осталось теперь 4 года.

Она – теперешняя жена Пищикова – тоже «вдова по собственной вине».

Ее процесс, хоть не столь громкий, обошел в свое время все газеты.

Она – бывшая актриса, убила своего мужа, полковника, вместе с другом дома, и спрятала в укромном месте. Труп был найден, преступление раскрыто, ей пришлось идти в каторгу на долгий срок.

Шаронихе, как ее звали на каторге, пришлось вытерпеть немалую борьбу, прежде чем удалось отстоять свою независимость, спастись от общей участи всех ссыльнокаторжных женщин.

Первым долгом на Сахалине ее, бойкую, неглупую, довольно интеллигентную женщину, облюбовал один из сахалинских чиновников и взял к себе в кухарки – со всеми правами и преимуществами, на Сахалине в таких случаях кухаркам предоставляемыми.

Но Шарониха сразу запротестовала.

– Или кухаркой, или сударкой, а смешивать два эти ремесла есть тьма охотниц, – я не из их числа.

И протестовала так громко, энергично, настойчиво, что ее пришлось оставить в покое.

Тут она познакомилась с Пищиковым; они полюбили друг друга, – и пара убийц повенчалась.

Пара убийц... Как странно звучит это название, когда приходится говорить об этой милой, бесконечно симпатичной, душа в душу живущей, славной парочке.

Их прошлое кажется клеветой на них.

– Не может этого быть! Не может быть, чтобы этот нежный супруг, который двух слов не может сказать жене, чтобы

не прибавить третьего – ласкового, чтобы он мог быть пала-  
чом. Не может быть, чтобы эти вечно работающие, честные,  
трудовые руки были обагрены убийством мужа!

Крепко схватившись друг за друга, они выплыли в этом  
океане грязи, который зовется каторгой, выплыли и спасли  
друг друга.

Не отсюда ли эта взаимная, трогательная нежность?

Он служил смотрителем маяка и в канцелярии начальни-  
ка округа, – он правая рука начальника, знает и отлично,  
добросовестно, старательно ведет все дела.

Он, как я уже говорил, добрый, славный муж, удивитель-  
но кроткий, находящийся даже немножко под башмаком у  
своей энергичной жены.

Ничто не напоминает в нем прежнего Отелло, Отелло-па-  
лача.

Только раз в нем проснулась старая болезнь – ревность.

Его жена до сих пор вспоминает об этом с ужасом.

Он достал бритву, наточил, заперся и... сбрил свою  
огромную, окладистую бороду и усы.

«Страшно было взглянуть на него!»

– И не подходи ко мне после этого! – объявила госпожа  
Пищикова.

Он долго просил прощения и ходил с виноватым видом.  
Больше он уже не ревновал.

Она... Нет минуты, когда бы она не была чем-нибудь за-  
нята. То солит сельди, то делает на продажу искусственные



цветы, работает в своем отличном, прямо образцовом огороде, шьет платья корсаковской «интеллигенции».

И берет... один рубль «за фасон».

– Что так дешево? – изумился я. – Да ведь это даром! Вы бы хоть два!

Она даже замахала в испуге руками.

– Что вы? Что вы?! Ведь ему осталось еще четыре года каторги. Четыре года над ним все могут сделать! На меня рассердятся, а на нем выместят. Нет! Нет! Что вы?! Что вы?!

Надо видеть, как говорит о своем муже эта женщина, слышать, как дрожит ее голос, когда она вспоминает, что ему осталось еще четыре года каторги... сколько любви, тревоги, боязни за любимого человека слышится в ее голосе.

Я познакомился с ней еще на пароходе. Она возвращалась из Владивостока, где ей делали трудную операцию, опасную для жизни.

Едва корсаковский катер пристал к пароходу, на трап первым взбежал мужчина с огромной бородой – ее муж.

Они буквально замерли в объятиях друг друга. Несколько минут стояли так.

– Милый!

– Дорогая! – слышалось сквозь тихие всхлипывания.

У обоих ручьем текли слезы.

Вспоминают ли они о прошлом?

И он и она время от времени запивают.

Может быть, это дань, которую они платят совести?

Совесьть ведь берет и водкой...

# Гребенюк и его хозяйство

Бродя по Корсаковской «слободке», вы непременно обратите внимание на маленький домик, удивительно чистенький, аккуратно сделанный, щеголеватый: имеется даже терраса.

Во дворе этого дома вы вечно увидите кого-нибудь за работой.

Или пожилая женщина задает корм чушкам, или высокий, сгорбленный, болезненного вида мужик что-нибудь рубит, строгает, пилит.

Пол, как стол, – чистоты невероятной. От двери к лавке положена дорожка.

На окнах пышно разрослась герань.

Стены, потолок – все это тщательно выскоблено, вычищено, выстрогано.

Каждое выстроганное бревнышко по карнизу обведено бордюрчиком.

В этом маленьком домике я провел несколько хороших часов. Здесь я отдыхал душой от сахалинского смрада, от сахалинского бездомовья, повального разорения, каторжной оголтелости. Здесь дышалось легко. От всего веяло трудом, любовью к труду, маленьким, скромным достатком.

Когда вы не знаете, куда в этом вылощенном домике деть оурук, – Гребенюк идет к резному ящику и, бережно, слов-

но драгоценность какую-то, не без гордости несет оттуда фаянсовую пепельницу.

– У нас и это есть. Сам-то я не занимаюсь, – ну а придет кто, все-таки надоть!

К своему дому, к своему хозяйству Гребенюк относится чрезвычайно любовно.

– Ведь я здесь каждое бревнышко по имени-отчеству знаю! – с доброй улыбкой, с какой-то прямо нежностью оглядывается он кругом. – Каждое сам в тайге выискал, вырубил, своими руками сюда притащил. Сам каждое прилаживал – по праздникам, а то в обеденное время бегал сюда – работал.

И вы видите, что ему действительно знакомо и дорого каждое бревнышко. С каждым соединено воспоминание о том, как он, Гребенюк, «человеком делался».

Гребенюк – мастер на все руки и работает от зари до зари не покладая рук!

Он и цирюльник, и плотник, и столяр – всему этому выучился в каторге, – имеет огород, разводит чушек.

– Курей тоже много есть. Баба за ними ходит. Овец две пары.

Гребенюк еще каторжный. За хорошее поведение ему разрешено жить вне тюрьмы, на вольной квартире. На тюрьму он «исполняет урок»: столярничает несколько часов в сутки, а остальное время работает на себя.

– Скоро и каторге конец: на двадцать я был осужден: с манифестами да с сокращениями – через четыре месяца и со-

всем конец. Выйду в поселенцы, тогда уж только на свой дом стану работать.

Не в пример прочим, Гребенюку «выдана» сожительница, несмотря на то, что он еще каторжный и на такую роскошь не имеет права.

Пожилая женщина пришла «за мужа», то есть за убийство мужа; она гораздо старше Гребенюка, некрасивая.

– Ну, да я ее уважаю, и она меня уважает. Хорошо живем, нечего Бога гневить!

Это действительно сожительство, скорее основанное на взаимном уважении, чем на чем-нибудь другом. Гребенюк ее взял за старательность, за хозяйственность. Она в работе не уступает самому Гребенюку.

Гребенюк попал в каторгу «со службы».

– По подозрению осужден? – задал я ему обычный сахалинский вопрос.

Гребенюк помолчал, подумал.

– Нет, уж если вы, барин, так до всего доходите, так вам правду нужно говорить. За убийство я пришел. Барина мы убили... С денщиком мы его порешили.

– С целью грабежа?

– Нет. Из-за лютости. Лют был покойник – ах, как лют. Бил так – у меня и до сих пор его побои болят. Нутро все отшиб – так бил. За кучера я у него был, лошади у него хорошие были. В ногах я у него сколько раз валялся, сапоги целовал: «Отпустите вы меня, барин, ежели я такой дурной

и никак на вас угодить не могу». — «Разве я, — говорит, — тебя держу, тебя лошади держат». От природы у меня эта склонность была — за лошадьми ходить. Лошади у меня завсегда в порядке были... Да шибко вот бил, покойник! И теперь вспомнить — мутит. Тяжко!

Было это в восемьдесят пятом году, двадцать девятого сентября, в городе Меджибоже Подольской губернии, — может, изволите знать? Барин был с денщиком в Киеве, а я при лошадях оставался. Приезжает барин домой — и сейчас в конюшню. Заместо того, чтобы как следует сказать: «Здравствуй, мол, дьявол!» или что, — прямо на меня. «Это что, — говорит, — ты мне, подлец этакий, над лошадьми сделал? А? Совсем худые стоят лошади! Что над ними, подлая твоя душа, сделал?» А у лошадей без его мыт был. Я ему докладую: «Помилуйте, барин, лошади мытились, оттого и с тела спали. Я вам об этом, сами изволите знать, телеграмму бил!» — «Врешь, — кричит, — подлец! Овес крал!» Да меня наотмашь. А у меня в те поры ухо шибко болело. Я это ладонью ухо-то закрываю, а он нет, чтобы по другому бить, — а руку мою отдирает и все по больному-то, по больному. Свету невзвидел. Вижу, нет моей моченьки жить. Я и говорю денщику: «Беспреренно нам его убить надо. Потому либо нам, либо ему, а кому-нибудь да не жить». А он мне: «Я и сам об этом тебе сказать хотел». Так и сговорились. В тот же вечер и кончили. Гребенюк помолчал, собрался с воспоминаниями: — Было так часов в одиннадцать. Я на кухне сидел, ждал. А

денщик к нему пошел посмотреть: спит ли, нет ли? Приходит, говорит: «Можно, спит!» Выпили мы бутылку наливки для куражу – денщик с вечера припас, – разулись, чтобы не слышать было, и пошли... В спальне у него завсегда ночник так вот горел, а так он лежал. Не видать. Руки у него на грудах. Спит. «Валяй, мол». Кинулись мы к нему. Денщик-то, Царенко, его сгрудил, а я петлю на шею захлестнул да и удавил.

– Сразу?

– В один, то есть, момент. И помучить его не удалось, – в голосе Гребенюка послышалась злобная дрожь, – и помучить не удалось, потому за стеной тоже барин спал, услышать мог, проснуться.

– Что же, он-то проснулся?

– Так точно, в этот самый момент проснулся, как его сгрудили. Только голоса подать не успел. Руку это у Царенки вырвал, да к стенке, – на стенке у него револьвер, шашка, кинжалы висели, ружье. Да Царенко его за руку поймал, руку отвел. А я уж успел петлю сдavit. Посмотрел только он на меня... Так мы его и кончили.

Гребенюк перевел дух.

– Кончили. «Теперь, мол, концы прятать надоть». Одели мы его, мертвого, как следовать, пальто, сапоги с калошами, шапку – да на речку под мостом и бросили. Дорогой, дескать, кто прикончил. Вернулись домой. «Теперича, – говорит Царенко, – давай деньги искать. Деньги у него должны быть.

Что им так-то? А нам годятся». Я: «Что ты, что ты? Нешто затем делали?» – «Ну, – говорит, – ты как хошь, а я возьму». Взял он денег там сколько мог, за печкой спрятал чемодан с вещами, рубахи там были новые, тонкого полотна – к бабе к одной и поволок. Баба у него была знакомая. Через это мы и засыпались... У бабы-то у этой в ту пору еще другой знакомый был, тоже у другого барина служил. Он и видел, как Царенко вещи приносил. Как потом, на другой день, нашли нашего покойника, ему и вдомек – то-то, мол, Царенко вещи приносил. Пошел об этом слух. Дошло до начальства, Царенку и взяли. Он от всего отперся: «Знать, мол, ничего не знаю, задушил Гребенюк где-то под мостом, а пришел, не велел никому сказывать и чемодан сказал отнести, спрятать. Я с испугу и послушался». Взяли тут и меня. Я долго не в сознании был: «Знать, мол, ничего не знаю». А потом взял да все и рассказал.

– Совесть, что ли, мучила?

– Нет, зачем совесть! Зло больно взяло. Сидим мы с Царенкой на абвахте по темным карцерам. Часовой тут, – хоть и запрещено, а разговаривает. Свой же брат, жалеет. Слышу я, Царенко ему говорит: «Вот, – говорит, – должен через подлеца теперь сидеть, безвинный». Так меня от этого слова за сердце взяло, – я и вскричал: «Ведите, – говорю, – меня к следователю, всю правду открыть желаю». Повели меня к следователю, – я все как есть и объявил, как было: как душили, как уговор был, где Царенко деньги сховал. Ему при-



судили на вечную, а мне дали двадцать лет. Так вот и живу.

– Тяжело, поди?

– Тружусь, пока в силах. Вы обо мне у кого угодно спросите, вам всякий скажет. Десять лет, одиннадцатый здесь живу – обо мне слова никто не скажет. Не только в карцере или под розгами – пальцем меня ни один надзиратель не тронул. При каких зрителях работал! Ярцев тут был, царство ему небесное. Лютый человек был. Недраного арестанта видеть не мог. А и тот меня не только что пальцем не тронул – слова мне грубого никогда не сказал. Трудился, работал, делал что велят, из кожи вон лез. Бывало, другие после обеда спать, а я топор за пояс – да сюда: постукиваю, домишко лажу... Ничего, хорошо прожил. Здоровье вот, точно, худо стало, надорвался.

Гребенюк и вид имеет надорванный – с виду он худой, куда старше своих лет.

– Ну а насчет прошлого как?.. Жалко тебе бывает его, того, что убили? Не раскаиваешься?

– Жалко?.. Вот вам, барин, что скажу. Как хотите, так уж и судите: хороший я человек или негодный. А только я вам по совести должен сказать, как перед Истинным. Вот встань он из могилы, сюда приди – я бы его опять задушил. Десять раз бы ожил – десять бы раз задушил! Каторга! Вам тут будут говорить, что трудно да тяжело, – не верьте им, барин. Врут все, подлецы! Они настоящей-то каторги не видели. Здесь я десять лет прожил, – что! Там вот три года – вот это была

каторга так каторга! Здесь я только и свет увидел!

– Постой, постой! Да ведь и здесь тяжкие наказания были!

– Да ведь за дело. Оно, конечно, иной раз и безо всякого дела, понапрасну. Да ведь это когда случится?! В месяцы раз... А там день-деньской роздыху не знал. Ночи не спал, плакал, глаза вот как опухли. Вы не верьте, барин, им: они горя настоящего не видели. Потому так и говорят.

И в словах и в лице Гребенюка, когда он говорит о своей жертве, столько злобы, столько ненависти к этому мертвецу, – словно не двенадцать лет с тех пор прошло, а все это происходило вчера.

Тяжела вина Гребенюка, слов нет, тяжело совершенное им преступление, возмутительно его сожаление о том, что «не удалось помучить», – но ведь и довести же нужно было этого тихого, смиренного человека до такого озлобления.

Я спросил как-то у Гребенюка о Царенко: где тот?

– В Александровке. Говорят, шибко худо живет. Пьет. Убить все меня собирался, зачем выдал. Пусть его!

# Паклин

Убийца и поэт. Беспощадный грабитель и нежный отец. Преступник и человек, глубоко презирающий преступление. Из таких противоречий создан Паклин.

Я получил записку:

«Достопочтеннейший господин писатель! Простите мою смелость, что я посылаю Вам свои писанья. Может быть, найдется хоть одно слово, для вас полезное. А ежели нет – прикажите Вашему слуге выкинуть все это в печку. Я жилец здесь не новый, знаю все вдоль и поперек и рад буду служить Вам, в чем могу. Чего не сумею написать пером, то на словах срублю, как топором. Еще раз прошу простить мою смелость, но я душою запорожец, трусом не бывал и слышал пословицу, что смелость города берет. Еще душевно прошу Вас, не подумайте, что это делается с целью, чтобы получить на кусок сахара. Нет, я бы был в триста раз больше награжден, если бы оказалось хоть одно словцо для вас полезным. Быть может, когда-нибудь дорогие сердцу очи родных взглянули бы на мои строки, – хоть и не знали бы они, что строки эти писаны мной. Тимофей Паклин».

В кухне дожидался ответа невысокий, плотный, коренастый рыжий человек.

Он казался смущенным и был красен, – только серые холодные глаза смотрели спокойно, смело, отливали сталью.

– Это вы принесли записку от Паклина?

– Точно так, я! – с сильным заиканием отвечал он.

– Почему же Паклин сам не зашел?

– Не знал, захотите ли вы принять каторжного.

– Скажите ему, чтоб зашел сам.

Он помолчал.

– Я и есть Паклин.

– Зачем же вы мне тогда сразу не сказали, что вы Паклин? – спросил я его потом.

– Боялся получить оскорбление... Не знал, захотите ли вы еще и говорить с убийцей.

«Паклин» – это его не настоящая фамилия. Это его «nom de la guerre», фамилия, под которой он совершал преступления, судился в Ростове за убийство архимандрита.

Зверское убийство, наделавшее в свое время много шума.

Передо мной стояла в некотором роде знаменитость.

Тот, кто называет себя Паклиным, – родом казак и очень гордится этим.

По натуре это один из тех, которых называют «врожденными убийцами».

Он с детства любил опасность, борьбу.

– Не было выше для меня удовольствия, как вскочить на молодого, необъезженного коня и лететь на нем; вот-вот сломаю голову и себе и ему. И себя и его измучаю, – а на душе так хорошо.

Самоучкой выучившись читать, Паклин читал только те

книги, где описываются опасность, борьба, смерть.

– Больше же всего любил я читать про разбойников.

Свою преступную карьеру Паклин начал двумя убийствами.

Убил товарища «из-за любви». Они были влюблены в одну и ту же девушку.

Свое участие в убийстве ему удалось скрыть, – но по станице пошел слух, и однажды, в ссоре, кто-то из парней сказал ему:

– Да ты что? Я ведь тебе не такой-то! Меня, брат, не убьешь из-за угла, как подлец!

– Я не стерпел обиды, – говорит Паклин, – ночью заседлал коня, взял оружие. Убил обидчика и уехал из станицы, чтоб срам не делать родным.

Он пустился «бродяжить» и тут-то приобрел себе фамилию «Паклин».

Его взяла к себе, вместо без вести пропавшего сына, одна старушка.

Он увез ее в другой город и там поселился с нею.

– Я ее уважал все равно как родную мать. Заботился об ней, денег всегда давал, чтобы нужды ни в чем не терпела...

– Где ж она теперь?

– Не знаю. Пока в силах был – заботился. А теперь – мое дело сторона. Пусть живет как знает. Жива – слава богу, умерла – пора уж. Деньжонки, которые были взяты из дома при бегстве, иссякли. Тут-то мне все больше и больше и на-

чало представляться: займусь-ка грабежом. В книжках читал я, как хорошо да богато живут разбойники. Думаю, чего бы и мне? Досада меня брала: живут люди в свое удовольствие, а я как собака какая...

В это время от Паклина веяло каким-то своеобразным Карлом Моором.

– Я у бедных никогда ни копейки не брал. Сам, случалось, даже помогал бедным. Бедняков я не обижал. А у тех, кто сами других обижают, брал, – и помногу, случалось, брал.

Паклин, впрочем, и не думает себя оправдывать. Он даже иначе и не называет себя в разговоре, как «негодяем». Но говорит обо всем этом так спокойно и просто, как будто речь идет о ком-нибудь другом.

Как у большинства настоящих, врожденных преступников, женщина в жизни Паклина не играла особой роли.

Он любил «ими развлекаться», бросал на них деньги и менял беспрестанно.

Он грабил, прокучивал деньги, ездил по разным городам и в это время намечал новую жертву. Под его руководством работала целая шайка.

Временами на него нападала тоска.

Хотелось бросить все, сорвать куш, да и удрать куда-нибудь в Америку.

Тогда он неделями запирался от своих и все читал, без конца читал лубочные «разбойничьи» книги.

– И бросил бы все и ушел бы в новые земли искать счастья,

да уж больно был зол я в то время.

Паклин уж получил известность в Ростовском округе и на Северном Кавказе.

В Екатеринодаре его судили сразу по семи делам, но по всем оправдали.

– Правду вам сказать: мои же подставные свидетели меня и оправдали. По всем делам доказали, будто я в это время в других местах был.

За Паклиным гонялась полиция. Паклин был неуловим и неуязвим. Одного его имени боялись.

– Где бы что ни случилось, все на меня валили: «Этого негодяя рук дело». И чем больше про меня говорили, тем больше я злобился. «Говорите так про меня, – так пусть хоть правда будет». Ожесточился я. И чем хуже про меня молва шла, тем хуже я становился. Отнять – прямо удовольствие доставляло.

Специальностью Паклина были ночные грабежи.

– Особенно я любил иметь дело с образованными людьми: с купцами, со священниками. Тот сразу понимает, с кем имеет дело. Ни шума, ни скандала. Сам укажет, где лежат деньги. Жизнь-то дороже! Возьмешь, бывало, да еще извинишься на прощанье, что побеспокоил! – с жесткой, холодной, иронической улыбкой говорил Паклин.

– А случалось, что и не сразу отдавали деньги? Приходилось к жестокостям прибегать?

– Со всячинкой бывало! – нехотя отвечает он.

Нахичеванский архимандрит оказался, по словам Паклина, человеком «непонятливым».

Он отзывается о своей жертве с насмешкой и презрением.  
– На кого, – говорит, – вы руку поднимаете! Кого убивать хотите? Тоже – обет нестяжания дал, а у самого денег куры не клюют.

Как зашли мы к нему с товарищем – заранее уж высмотрели все ходы и выходы, – испугался старик, затрясся. Крикнуть хотел, – товарищ его за глотку, держит. Как отпустит, он кричать хочет. С час я его уговаривал: «Не кричите лучше, не доводите нас до преступления, покажите просто, где у вас деньги...» Нет, так и не мог уговорить. «Режь!» – сказал я товарищу. Тот его ножом по горлу. Сразу! Крови что вышло...

Рассказывая это, Паклин смотрит куда-то в сторону. На его неприятном, покрытом веснушками лице пятнами выступает и пропадает румянец, губы искривились в неестественную, натянутую улыбку. Он весь поеживается, потирает руки, заикается сильнее обыкновенного.

На него тяжело смотреть.

Наступает длинная, тяжелая пауза.

Их судили вчетвером; двоих невиновных Паклин выгородил из дела.

– Об этом и своего защитника просил – чтоб только их выгораживал. А обо мне не беспокоился. Не хотел я, чтобы невиновные из-за меня шли. Молодец он, постарался!



Перед судом Паклин одиннадцать месяцев высидел в одиночном заключении, досиделся до галлюцинаций, но «духа не потерял».

Когда любимый всей тюрьмой, добрый и гуманный врач ростовской тюрьмы господин К. не поладил с тюремной администрацией и должен был уйти, Паклин поднес ему икону, приобретенную арестантами по подписке.

– В газетах тогда об этом было!

– Еще один вопрос, Паклин, – спросил я его на прощанье. – Скажите, вы верите в Бога?

– В Бога? Нет. Всякий за себя.

На каторге Паклин вел себя с первого взгляда престранно. Нес самую тяжкую, «двойную», так сказать, каторгу. И по собственному желанию.

– Полоумный он какой-то! – рассказывал мне один из корсаковских чиновников, хорошо знающий историю Паклина. – Парень он трудовой, примерный, ему никто слова грубого за все время не сказал. К тому же он столяр хороший – в тюрьме сидя, научился, мог бы отлично здесь, в мастерской, работать, жить припеваючи. А он «не хочу», Христом Богом молил, чтобы его в сторожа в глушь, на Охотский берег послали. Туда, за наказание, самых отъявленных посылают. Там по полгода живого человека не видишь, одичать можно. Тяжелей каторги нет! А он сам просился. Так там в одиночестве и жил.

– Почему это? – спросил я у Паклина.

– Обиды боялся. Здесь – ни за что ни про что накажут. Ну а я бы тогда простого удара не стерпел, не то что розги, скажем. От греха, себя зная, и просился. Гордый я тогда был.

– Ну а теперь?

– Теперь, – Паклин махнул рукой, – теперь куда уж я! За трещину кто даст – я бежать без оглядки. Оно, быть может, я бы и расплатился, да о детях сейчас же вспомню. Сожительница ведь теперь у меня, за хорошее поведение, хоть я и каторжный, дали. Детей двое. Меня ругают – а я о детях все думаю. Меня пуще – а я о детях все пуще думаю! – Паклин рассмеялся. – С меня все как с гуся вода. Бейте – не пикну... Чудная эта штука! Вот что в нем, кажись, а пискнет – словно самому больно!

И в тоне Паклина послышалось искреннее изумление.

Словно этот человек удивлялся пробуждению в нем обыкновенных человеческих чувств.

Я был у Паклина в гостях.

У него дом – лучший во всем посту. Чистота – невероятная.

Его жена, молодая, красивая бабенка, так называемая «скопческая богородица»<sup>9</sup>, присланная на Сахалин за оскотление чуть не десятка женщин.

Каких, каких только пар не сводит вместе судьба на Саха-

---

<sup>9</sup> Этих девушек не скопят; на их обязанности лежит только совлекать в секту других.

лине!

Паклин живет с нею, что называется, душа в душу. На всякий лишний грош покупает или ей обнову, или детям гостинца.

Своих двоих крошечных бутузов он показывал мне с нежностью и гордостью отца:

– Вот какие клопы в доме завелись.

В другом месте, говоря о «поэтах-убийцах», я приведу стихи Паклина, не особенно важные, но любопытные.

Он имеет небольшое представление о стихосложении. Но в его неправильных стихах, грустных, элегических много чувства... и даже сентиментальности...

Его записки о дикарях-аинцах, которых он наблюдал, живя сторожем на Охотском берегу, показывают в нем много наблюдательности, умения подмечать все наиболее типичное.

Специальность Паклина – работа шкатулок, которые он делает очень хорошо.

Я хотел купить у него одну.

Но Паклин воспротивился изо всех сил:

– Нет, нет, барин, ни за что. Даром вы не возьмете, а продать – вы подумаете, что я и знакомство с вами свел, чтобы шкатулку вам продать. Не желаю!

– Скажите, Паклин, – спросил я, когда он провожал меня с крыльца, – для чего вам понадобилось знакомиться со мной? Почему вам хочется, чтобы о вас написали?

– Для чего?

Паклин грустно улыбнулся.

– Да вот, если человека взять да живым в землю закопать.

В подzemелье какое, что ли. Хочется ему оттуда голос подать или нет? «Жив, мол, я все-таки»...

# Поселенцы

– К вам там поселенцы пришли! – в смущении, почти в ужасе объявила квартирная хозяйка.

– Так нельзя ли их сюда?

– Что вы! Куда тут! Вы только взгляните, что их!

Выхожу на крыльцо. Толпа поселенцев – человек в двести – как один человек снимают шапки.

– Ваше высокоблагородие! Явите начальническую милость...

– Что вам?

– Насчет пайков мы! Способов никаких нет...

– Стойте, стойте, братцы! Да вы за кого меня принимаете? Я ведь не начальство!

– Точно так! Известно нам, что вы писатель... Так уж будьте такие добрые, напишите там, кому следует... Способов нет. Голодом мрем! Пришли сюда с поселений, думали работишку найти, – все подрядчики японцами работают! Пайков не дают, на материк на заработки не пускают. Помирай тут на Сакалине! Что же нам теперь делать?

– А сельское хозяйство?

– Какое ж, ваше высокоблагородие, наше хозяйство! Не то что сеять – есть нечего. У кого были семена, – съели. Скота не дают. Смерть подходит!

– Барин! Господин! Вашескобродие! – протискивается

сквозь толпу невзрачный мужичишка.

Мужичишка – тип загулявшего мастерового. Хотя сейчас пиши с него «Камаринского мужика»: «Борода его всклокочена, вся дешевкою подмочена». Красная рубаха от ветра надулась парусом, полы сюртучишка так ходуном и ходят.

Голос у мужичишки пронзительный, с пьяной слезой, из самых недр его пьяной души рвущийся.

Первым долгом он зачем-то изо всей силы кидает об пол картуз.

– Господин! Ваше сиятельство! Дозвольте, я вам все разъясню как по нотам! Ваше сиятельство! Господин благодетель! Это они все правильно! Как перед Господом говорю, – правильно! Потому способов нет! Сейчас это приходит ко мне, к примеру скажем, он: «Мосей Левонтич, способов нет». Я ему: «Пей, ешь, спасай свою душу!» Потому я для всякого... Правильно я говорю, ай нет? – вдруг с каким-то ожесточением обращается он к толпе. – Правильно, аль нет? Что ж вы, черти, молчите?

– Оно действительно... Оно конечно! – нехотя отвечает толпа. – Ты про дело-то, про дело.

– Потому я для всякого! На свои, на кровные! Вон они, кровные-то! – мужичишка разжимает кулак, в котором зажато семь копеек. – Вон они! Обидно!

«Мосей Левонтич» бьет себя кулаком в грудь. В голосе его все сильнее и сильнее дрожит слеза.

– Правильно я говорю, ай нет? Что же вы молчите? Я за

вас, чертей, говорю, стараюсь, а вы молчите!

– Оно конечно... Оно верно... Да ты про дело-то, про дело! – уже с тоской отвечает толпа.

Но «Мосей Левонтич» вошел в раж, ничего не слышит и не слушает.

– Какой есть на свете человек Мосей Левонтич?! Сейчас мне поселений смотритель лично известен. Призывает: «Можешь, Мосей Левонтич, бюсту для сада сделать?» Так точно, могу, – потому я скульптор природный. Природный!

«Природный скульптор» начинает опять усиленно колотить себя в грудь и утирает слезы.

– Не какой-нибудь, а природный! Из Расеи еще скульптор. «Можешь?» – «Могу». – «На тебе две записки на спирт». Обидно! Что я с ними, с записками-то, делать буду? Куда денусь? Ежели у всякого свои записки есть? Правильно я говорю, ай нет? Что вы, черти...

– Ну, слушай! – перебиваю я его, видя, что красноречию «скульптора» конца не будет. – Я вижу, что ты человек серьезный. Мы с тобой в другой раз поговорим. А теперь дай мне с народом покончить. Поотодвиньте-ка его, братцы.

Десяток рук берется за природного, но огорченного скульптора, – и его тщедушная фигурка исчезает в толпе.

Положение тягостное.

– Что ж я для вас могу сделать? Я ничего не могу.

– Так! – уныло говорит толпа. – К кому ни пойдешь, все ничего не могут! Кто ж может-то? Делать-то теперь что же?

– Этак в тюрьме лучше!.. Куда! Не в пример!.. Там хошь работа, да зато корм!.. А здесь ни работы, ни корма. Что ж теперь делать? Одно остается: убивать, грабить! Пущай опять в тюрьму забирают. Там хошь кормить будут! Больше и делать нечего: хватил кого ни попадя! – раздаются озлобленные голоса.

Тут-то мне в первый раз пришел в голову афоризм.

– Каторга начинается тогда, когда она кончается, – с выходом на поселение.

Афоризм, который повсюду на Сахалине имел одинаковый успех, где я что ни говорил.

– Это действительно. Это правильно. Это слово верное! – говорили каторжане и поселенцы. – Это истинно, так точно!

– Совершенно, совершенно справедливо! Именно, именно так! – подтверждали в один голос чиновники.

И даже те, кому, казалось бы, следовало именно заботиться, чтобы это было не так, – и те только вздыхали.

– Вы это напишите! Непременно напишите. Это правда, глубокая правда. Ужас, ужас!



# Сожительница<sup>10</sup>

Что за фантастическая картина! Где, когда по всей России вы увидите что-нибудь подобное?

– Бог в помощь, дядя!

– Покорнейше благодарствуем, ваше высокородие! Ты бы привстала, – видишь, барин идет! – говорит мужик, вытаскивающий из печи только что испеченный хлеб, в то время как баба, развалясь, лежит на кровати.

Баба нехотя начинает подниматься.

– Ничего, ничего! Лежи, милая. Больна у тебя хозяйка-то?

– Зачем больна? – недовольно отзывается баба, снова принявшая прежнее положение. – Слава те господи!

– Что ж лежишь-то? Нескладно оно как-то выходит. Мужик – и вдруг бабым делом занимается: стряпает.

– Ништо ему! Чай, руки-то у него не отвалятся. Свои – не купленные. Пушай потрудится!

– Да ведь срам! Ты бы встала, поработала!

– Пушай ее, ваше высокоблагородие! Баба! – извиняющимся тоном говорит мужик, видимо, в течение всей этой беседы чувствующий себя ужасно сконфуженным.

---

<sup>10</sup> Так называются на Сахалине каторжные женщины, выдаваемые поселенцам «для совместного ведения хозяйства». Так это называлось официально раньше. Теперь даже официально – например, в «Сахалинском календаре» – это называется «незаконным сожительством», что гораздо ближе к истине.

– Больно мне надоть! Дома поработала – будет. Дома, в Расее, работала, да и здесь еще стану работать! Эка невидаль! Может, и он мне потрафит. А не желает, кланяться не буду. Меня вон надзиратель к себе в сожительницы зовет. Их, таких-то, много. Взяла – да к любому пошла!

Баба – костромичка, выговор сильно на «о», говорит необычайно нахально, с каким-то необыкновенно наглым апломбом.

– Но, но! Ты не очень-то! Разговорилась! – робко, видимо, только для соблюдения приличия, осаживает ее поселенец. – Помолчала бы!

– Хочу и говорю. А не ндравится – хоть сейчас, с полным моим удовольствием! Взяла фартук и пошла. Много вас таких-то безрубашечных! Ищи себе другую – молчальницу!

– Тьфу ты! Веред-баба, – конфузливо улыбается мужик, – прямо веред.

– А веред – так и сойти веред может. Сказала – недолго.

– Да будет же тебе. Слова сказать нельзя. Ну тебя!

– А ты не запряг, так и не нукай! Я тебе не лошадь, да и ты мне не извозчик!

– Тьфу ты!

– Не плюй. Проплюешься. Вот погляжу, как ты плеваться будешь, когда к надзирателю жить пойду...

– Ты какого, матушка, сплава? – обращаюсь я к ней, чтобы прекратить эту нелепую сцену.

– Пятого года<sup>11</sup>.

– А за что пришла?

– Пришла-то за что? За что бабы приходят? За мужа.

– Что ж, сразу к этому мужику в сожительницы попала?

– Зачем сразу? Третий уж. Третьего сменяю.

– Что ж те-то плохи, что ли, были? Не нравились?

– Известно, были бы хороши – не ушла бы. Значит, плохи были, ежели я ушла. Ихнего брата, босоногой команды, здесь сколько хошь: ешь – не хочу! Штука не хитрая. Пошла к поселений смотрителю: не хочу жить с этим, назначьте к другому.

– Ну а если не назначат? Ежели в тюрьму?

– Не посадят. Не бойсь! Нашей-то сестры здесь не больно много. Их, душегубов, кажинный год табуны гонят, а нашей сестры мало. Кажный с удовольствием...

Становилось прямо невыносимо слушать эту наглую, циничную болтовню, эти издевательства опухшей от сна и лени бабы.

– Избаловал ты свою бабу! – сказал я, выходя из избы провожавшему меня поселенцу.

– Все они здесь, ваше высокоблагородие, такие, – все тем же извиняющимся тоном отвечал он.

– Меня баловать неча! Сама набалована! – донеслось из избы.

Я дал поселенцу рублишко.

---

<sup>11</sup> 95-го. Женщин присылают обыкновенно осенью.

– Покорнейше благодарствую вашей милости! – как-то необыкновенно радостно проговорил он.

– Постой! Скажи, по чистой только совести, на что этот рубль денешь? Пропьешь или бабе что купишь?

Мужик с минуту постоял в нерешительности.

– По чистой ежели совести? – засмеялся он. – По чистой совести, полтину пропью, а на полтину ей, подлой, гостинцу куплю!

Через день, через два я проходил снова по той же слободе.

Вдруг слышу – жесточайший крик.

– Батюшки, убил! Помилосердуйте, убивает, разбойник! Ой, ой, ой! Моченьки моей нет! Косточки живой не оставил! Зарежет! – пронзительно визжал на всю улицу женский голос.

Соседи нехотя вылезали из изб, глядели, «кто орет», махали рукой и отправлялись обратно в избу:

– Началось опять!

Вопила, сидя на завалинке, все та же – опухшая от лени и сна баба.

Около стоял ее мужик и, видимо, уговаривал.

Грешный человек: я сначала подумал, что он потерял терпение и «поучил» свою сожительницу.

Но, подойдя поближе, я увидел, что тут было что-то другое.

Баба сидела, правда, с растрепанными волосами, но орала спокойно, совсем равнодушно и терла кулаками совершенно сухие глаза!

Увидев меня, она замолчала, встала и ушла в избу.

– Ах ты! Веред-баба! Прямо веред! – растерянно пробормотал мужик.

– Да что ты! Поучил, может, ее? Бил?

– Какое там! – с отчаянием проговорил он. – Пальцем не тронул! Тронь ее, дьявола! Из-за полусапожек все. Вынь ей да положи полусапожки. «А то, – говорит, – к надзирателю жить уйду!» Тыфу ты! Вопьется этак-то, да и ну на улицу голосить, чтобы все слышали, будто я ее тираню, и господину смотрителю поселений подтвердить могли. А где я возьму ей полусапожки, подлюге?!

Вот вам типичная, характерная, обычная сахалинская «семья».

# Сожитель

– Барин! Господин! Ваше высокобродие! – слышится сзади крик.

Останавливаюсь.

Подбегает, без шапки, запыхавшийся поселенец.

Видимо, гнался за мной долго и упорно.

– Я вас по всему посту ищу, бегаю!

– Что тебе?

– Изволили давеча такую-то заходить требовать?

Он называет мне фамилию одной ссыльнокаторжной, преступление которой меня интересовало.

– Да. А что?

– Дозвольте доложить. Она теперь дома.

И он спрашивает, уже понизив голос, тоном чрезвычайно конфиденциальным:

– К вам их прикажете прислать или сами пойдете?

А на лице так и светится «полная готовность» на все услуги.

– Да ты думаешь, зачем мне?

Поселенец ослабляется во всю свою физиономию: шутник, дескать, барин.

– Известно, зачем господа требуют!

Боже! Зачем я не художник, чтобы нарисовать в эту минуту эту подлую физиономию!

– Да ты кто ж такой ей будешь, что этикие дела за нее берешься устраивать?

– Я-то?

– Ты-то!

Поселенец чешет слегка в затылке.

– Сожитель ейный!

– Как же ты... Как тебя даже и назвать, не знаю...

– Михайлой зовут-с!

– Как же ты... Михайла ты этакий!.. Как же ты свою же собственную сожительницу сам же...

Михайла смотрит на меня и удивленно и иронически. «Откуда, мол, такой взялся, что никаких порядков не знает?»

– Не извольте беспокоиться, – с усмешечкой говорит он, – по здешним местам это принято. Не токмо что сожительницу или жену там – дочь представляют.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.